

Габор Т. Санто

ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ

проза еврейской жизни

Обратный билет
Габор Т. Санто

Аннотация
Габор Т. Санто. Обратный билет. Рассказы
Развеянные по свету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Жертвы Холокоста обслуживаются вне очереди
Обратный билет
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
Возвращение домой
Лагерный Микулаш

Аннотация

Габор Т. Санто (р. 1966) — известный венгерский еврейский писатель, главный редактор журнала «Шабат». Среди лучших его произведений — роман «Восточный вокзал, конечная остановка» и сборник рассказов «Лагерный Микулаш», на основе которого составлена эта книга. Быть евреем в Центральной и Восточной Европе XX века — удел тяжелый, порой страшный. Неудивительно, что многие и многие, сознательно или подсознательно, стремятся ассимилироваться, полностью раствориться в «титульной нации». Куда более удивляет, когда некая сила (гены? зов крови? дух великой древней культуры? человеческое достоинство? — тут можно долго гадать и спорить) все же заставляет их, как и героев этой книги, вернуться к еврейству — истинной своей сути.

Книга издана при поддержке Фонда Ави Хай
и Чейс Фэмили Фаундейшн

проза еврейской жизни

Габор Т. Санто
Обратный билет
Рассказы

Szántó T. Gábor

Lágermikulás

Габор Т. Санто

Обратный билет

Рассказы

Перевод с венгерского
Ю. Гусева

Москва
«Текст»
2008

Развеянные по свету

1

Тамаш дважды повернул ключ во всех трех замках, дернул дверь, убедиться, что все закрыто как надо. Вызвал лифт — и, уже войдя в кабину, сообразил вдруг: а перекрыл ли он газ? Да, он помнит: допил слегка остывший от холодного молока кофе, просунул голову в снятый вчера вечером, но неразвязанный галстук, затянул узел… а вот повернул ли вентиль газа, не помнит.

Досадливо морщась, он вышел из лифта и поставил портфель так, чтобы кабина не закрылась. Вошел в прихожую, оттуда на кухню: газ был выключен.

На первом этаже в ожидании лифта уже стояли двое. Обменявшись с ними неприязненными взглядами и что-то буркнув вместо приветствия, он выскочил во двор, к машине.

Он и так вышел сегодня минут на десять позже, чем надо: пришлось стремянку тащить в гардеробную, доставать черный костюм, да еще чистить его от пыли: костюм он не надевал несколько месяцев. Он немного нервничал, что опоздает на работу: этого он не мог позволить себе даже сегодня. К тому же придется уйти раньше

времени, из-за похорон. Три недели назад скончалась тетка, последняя родственница, с которой он поддерживал отношения, и, в соответствии с завещанием, он, получив какую-то ерунду в наследство, должен был заниматься организацией похорон. А тут еще выяснилось, что как раз сегодня в фирме назначены проводы старого года.

Как он ни спешил, а угодил в самый час пик. И теперь, на плотно забитом машинами Кольце, поняв, что все равно не успеет к 7.45, в бессильной ярости колотил руками по баранке. В машине уже давно барахлило отопление: то гнало горячий воздух, то напрочь отказывалось работать. И ему приходилось то включать, то выключать вентилятор. Каждый день он собирался позвонить механику, договориться о встрече — и каждый день откладывал разговор: очень уж не хотелось, даже на короткое время, превращаться в пешехода. И вот теперь он парился в зимнем пальто и двубортном костюме; к тому же шершавый воротник пальто зверски тер шею: как он ни изворачивался, ничего не помогало. Но снимать пальто в машине было слишком неудобно, так что он терпел и чертыхался — раз уж забыл раздеться, когда садился.

Было двадцать первое декабря, пятница, пред-

последний рабочий день перед праздником. На улице — стужа и мрак. Тащась со скоростью черепахи в потоке машин, он ни за что не хотел открывать окно, из-за смога, предпочитая потеть и ругаться, что опаздывает.

Он хотел быть образцовым начальником, который стремится укреплять дисциплину исключительно личным примером. Всегда приходить на службу первым и уходить последним, совмещать педантизм и требовательность с предупредительностью и вежливостью. Несколько лет тому назад, в разгар приватизации, он, по воле нового владельца фирмы, голландца, неожиданно, перескочив сразу несколько ступенек, поднялся на нынешний уровень. Вышло это в первую очередь благодаря тому, что он мог вести переговоры по-английски и по-немецки; кроме того, из руководителей среднего звена он один понимал, что представители зарубежного партнера не вежливых фраз ждут, а хотят увидеть реальные слабые места в работе фирмы, занимающейся поставками продовольствия, областью, которая в последнее время переживает некоторую стагнацию. Он делал, что мог, хотя иногда у него появлялось неприятное ощущение, что кое-кто считает его предателем; да у него и у

самого возникали порой угрызения совести, хотя голландцы к этому времени уже решили: каким бы ни был результат рентгеновского просвечивания фирмы, прежнее руководство они все равно заменят.

Сделанное ему предложение для него самого оказалось неожиданным; сослуживцы же все были безмерно удивлены, когда его назначили директором-распорядителем. А голландцы не скрывали надежды, что назначение его, знакомого с условиями и жаждущего угодить новому владельцу, хотя и чревато известными минусами, однако должно принести и плюсы: ведь он хорошо знал прежних коллег, а с некоторыми его связывали дружеские отношения. В первое время за спиной у него много чего шептали, но постепенно начали уважать. Он приложил все усилия, чтобы в ходе реорганизации было уволено как можно меньше людей, правда, кое-кого пришлось отправить до срока на пенсию.

Назначение явилось очень вовремя. Четыре года назад, почти в тот же самый момент, они с женой пришли к обоюдному решению, что для обоих будет лучше, если они расстанутся. Тут как раз голландцы и подоспели с вопросом: не хочет ли он испытать себя на посту руководителя

компании? Жене, Анико, он рассказал об этом с флегматичной миной, старательно скрывая гордость. Ведь за последние десять лет из двадцати трех, прожитых вместе, она, пускай не напрямик, постоянно давала ему понять, что не довольна его жизненными успехами. Будучи замначальника торгового отдела, он не очень-то мог рассчитывать на дальнейшее продвижение. Анико совсем не была бы против, если б могла сопровождать его в зарубежные поездки; но ему был чужд тот, состоящий из смеси подхалимажа и наглости метод, которым добивались такой возможности его коллеги; не владел он и умением зарабатывать очки политической активностью. Намеки, которые делала жена, он, как правило, пропускал мимо ушей. В партии он состоял со студенческих лет, но давно расстался с иллюзиями; для того же, чтоб выйти, ему не хватало смелости.

Он искренне любил жену — до тех самых пор, пока она своим тщеславием и упорством не отбила у него способность чувствовать себя равноправным с ней человеком. Но его и теперь иной раз охватывает гордость, когда он думает о жене, которая своими незаурядными данными: гибкой, стройной фигурой, вызывающе пышной, при тонкой талии, грудью, длинными белоку-

рыми волосами, небесно-голубыми глазами, а также, конечно, хорошо подвешенным языком и взрывной энергией — и в сорокачетырехлетнем возрасте, после развода, воплощала собой в его глазах идеал женщины.

Когда назначение состоялось и он перебрался в огромный кабинет в отремонтированном офисном здании — лишь тогда в нем стало созревать сознание, что карьерная перспектива, открывшаяся перед ним в сорок девять лет, для него, после десятилетий, омраченных ощущением собственной неполноценности, дает ему такое огромное удовлетворение, что оно перевешивает все опасения, связанные с разводом и — как он надеялся, временным — одиночеством. Тем не менее одиночество оказалось довольно мучительным. Даже десять — двенадцать часов, проводимые ежедневно на службе, не могли заставить его забыть, что после возвращения домой ему остается или спать (чаще всего со снотворным), или слоняться по квартире, не находя себе места.

Когда они с женой сообщили сыну-студенту, Андрашу, что собираются разойтись, на лице у того появилось ошеломленное выражение, но он сдержался и сделал вид, будто новость его вовсе не потрясла. Они жили в одной квартире, и он,

конечно, не мог не видеть, не чувствовать, что отношения между родителями становятся все хуже и хуже. То отец, то мать рассказывали ему о своих обидах; но он как-то не мог все же представить, что они расстанутся… Сейчас он пожал плечами и сказал: в конце концов, это их дело, пускай поступают как знают. Они растерялись и в тот вечер больше не говорили на эту тему. Оба чувствовали себя виноватыми.

Спустя несколько недель, когда они опять заговорили о разводе и спросили, с кем сын хочет остаться, тот, к величайшему их изумлению, ответил: ни с кем; он подал бумаги на стипендию в Бостон, а если это не выгорит, то есть еще вариант — поехать в Берлин, в Университет Гумбольдта, так что он надеется, что облегчит им задачу. У них лица вытянулись, когда они услышали это неожиданное заявление. Позже оба признали: их медленно созревающий ребенок незаметно стал взрослым.

В ту ночь Анико плакала: может, они все-таки приняли неправильное решение, — иначе почему все вокруг рушится? Однако Тамаш к тому моменту уже покончил с сомнениями; к тому же он знал про ее новый роман — и, с выражением превосходства на лице, прямо сообщил ей об

этом. К подобному он был готов, хотя и не думал, что все произойдет так скоро. Анико преподавала в Институте физкультуры, там она и нашла одного коллегу, с которым утешалась в эти недели. Нового партнера она ни любила без памяти, ни желала так уж сильно: немного постельных радостей ей, пожалуй, требовалось лишь для того, чтобы доказать и мужу, и себе самой, что решение о разводе было принято своевременно. Тамаш резко сказал ей: может, не стоило так спешить с поисками любовника? И совсем уж дурной вкус виделся ему в том, что пропало несколько штук из купленных, еще вместе, презервативов, хранившихся в ночном столике… Когда он все это высказал, оба почувствовали, что несколько обескуражены. Он — тем, что его так возмутила эта маленькая низость; она — его возмущением. Анико уже несколько месяцев была готова к тому, что муж однажды сорвется; но когда это произошло, она вдруг испугалась. Напрасно она говорила, что связь эту не стоит воспринимать всерьез… И ей было стыдно, что она как-то так, не думая ни о чем, открыла коробку, где у них хранились презервативы, и взяла пригоршню пакетиков. В этот момент они с ужасом поняли, что пути их расходятся окончательно и бесповоротно.

В ту ночь они занимались любовью ожесточенно, отчаянно, словно перед смертью, — и лишь спустя несколько месяцев, после завершения развода и неприятной процедуры раздела имущества, набрались смелости признаться друг другу, какое невероятное наслаждение они тогда друг другу доставили. И они снова оказались в постели, да и потом время от времени повторяли это, то у него, то у нее. Анико осталась в их прежней общей квартире, Тамаш же переехал в квартиру покойных родителей; ему отошли также дача на Балатоне и машина.

Пускай такие отношения пока сохранятся, решили они на какой-то из встреч, повторяющихся раз в неделю-две, — ну а если появится кто-то, кто сумеет полностью заменить другого… Слова эти, «появится кто-то другой», они, конечно, никогда не произносили вслух, это лишь имелось в виду. Но часто, с грустной и в то же время вызывающей улыбкой, напоминали друг другу, что их встречи — это ненадолго; они словно испытывали друг друга. Лучше меня ты все равно никого не найдешь, сказала как-то Анико слегка кокетливым тоном, скорее с надеждой, чем с уверенностью. В тот момент она лежала рядом с ним, обнаженная, прижавшись к нему тяжелой грудью и поглажи-

вая его виски.

Он молчал. За минувший год она заметно постарела; а с тех пор как на нее свалились всякие заботы, которые прежде брал на себя муж, ее обычной самоуверенности тоже весьма поубавилось. Она часто звонила ему на службу, спрашивая совета по самым пустяковым вопросам; иногда у него было такое ощущение, что она просто хочет услышать его голос… Наверное, это так и было — особенно в те периоды, когда у нее долго не случалось новых приключений. Он старался терпеливо выслушивать ее проблемы, но иной раз коротко отвечал, что занят. И тогда несколько дней между ними царило отчуждение. Он говорил себе, что странным этим отношениям пора положить конец, но у него не хватало решимости. Небольшие романы бывали, конечно, и у него, но ничего серьезного как-то не складывалось. В тот раз, в постели, он не без некоторого удовлетворения понял, что Анико снова смотрит на него снизу вверх, и хотя он тоже побаивался, что никого лучше нее не найдет, однако вполне трезво отдавал себе отчет, что уже не смог бы жить с ней. Конечно, и одиночество, порой наваливавшееся на него, и утрата прежнего круга общих друзей, и время от времени вспыхива-

ющая ревность были мучительны; но все-таки это было лучше, чем то ощущение связанности, безысходности, с которым он жил последние годы. В то же время он не мог себе представить, что в один прекрасный день она просто исчезнет из его жизни, раз и навсегда.

В легковесных, скоротечных романах, не оставлявших после себя ничего, кроме досады, он никогда не мог смотреть на женщину, с которой спал и которая часто была гораздо моложе бывшей жены, как на равную себе личность; и уж тем более не мог разделить с ней то, что составляло предмет его забот и раздумий, связанных прежде всего с нынешней работой. В местах развлечений он знакомиться не умел, объявлений не читал в принципе; поэтому, бывая у знакомых, пробовал сблизиться с подругами их жен или подругами подруг, а то и с бывшими любовницами этих знакомых. Результат обычно бывал крайне скудным. И если порой он чувствовал необходимость излить душу, то не находил иного выхода, кроме как позвонить жене, и от нее ждал совета, а то и просто готовности выслушать его.

Договорились они и о том, что не будут допытываться, есть ли у другого кто-то и кто именно, но то и дело нарушали эту договоренность. Они

не совсем понимали, что их к этому побуждает: то ли ревность, то ли месть за отравленные годы, то ли стремление таким способом окончательно разорвать то, что их еще соединяло, то ли просто инерция… Но после таких откровений они надолго утрачивали тягу друг к другу и не искали возможности встретиться.

Мысль о том, чтобы сойтись снова, всерьез и надолго, ни у одного из них не возникала ни на миг. Даже в моменты самой горячей близости они сохраняли достаточно хладнокровия, чтобы не подвергать риску завоеванный покой. Правда, то состояние, в котором они жили последние совместные годы, с ощущением опустошенности, безразличия, уныния и взаимного раздражения, ощущением, уничтожившим нежность друг к другу и приведшим к мысли о необходимости развода, — после того как они разошлись, навсегда ушло в прошлое. Обоим было ясно: порознь лучше, чем вместе.

Однако, при всех колебаниях в их взаимоотношениях, оба они без смущения, без раздражения говорили о том, что, несмотря ни на что, совершили большую ошибку, когда отказались от зачатого — это произошло спустя десять лет после рождения Андраша — второго ребенка.

Почему-то оба были уверены — хотя абсолютно никаких доказательств тому не имелось, — что у них родилась бы девочка.

2

От Октогона до площади Луизы Блахи машина ползла еле-еле. Поэтому он решил свернуть на проспект Ракоци: может, через мост Эржебет удастся добраться быстрее. От нечего делать он включил радио. Аппарат зловеще заскрежетал, лишний раз напомнив, что уже два года он собирается заменить свою шестилетнюю старушку «мицубиси» новой машиной. Но все никак не может собраться с духом и выложить несколько миллионов за более солидную модель, хотя деньги для этого теперь нашлись бы. На заседаниях дирекции над ним подшучивали, что, подъезжая по утрам на такой рухляди, он подрывает имидж фирмы.

В радионовостях шла речь о кандидатах в парламент от только что созданной партийной коалиции. Он поморщился: звучали знакомые имена журналистов, которые пару лет назад в развязном, нагло-самоуверенном тоне пропагандировали с телевизионного экрана, да еще в самое лучшее время, подстрекательские, националистические идеи. Те эпизоды запомнились еще и потому, что, после того как он в каком-то

мазохистском упоении, словно завороженный, сидел перед экраном, слушая передачи, которые, вслед за Оруэллом, называл про себя минутами ненависти, а потом, за ужином, пытался пересказать Ани-ко, — она лишь махала рукой. И говорила: ты такой мнительный, Тамаш. Ну да, ребята увлеклись, в запале не то говорят, но ты попробуй взглянуть на это по-другому — и увидишь, доля истины в их словах есть. Ты разучилась смотреть на вещи объективно, ответил он тогда жене. Она, не желая с ним спорить, сказала: а ты параноик, Тамаш. Страха он тогда еще не испытывал: он был просто потрясен, ему стало противно жить; однако об этом он жене ничего не сказал.

В дальнейшем, пока они были вместе, тему эту он больше не поднимал; лишь внимательно, иногда со стесненным сердцем и спазмами в желудке, следил за подстрекательскими радио- и телепередачами. Политика вообще-то и его, и Анико мало интересовала. Они старались не касаться тем, которые могли ранить другого, никогда не заостряли несовпадений во взглядах, а в главном почти всегда приходили к согласию. Так же как когда-то, студентами, вместе отправлялись на танцы, как позже вместе читали

самиздатовские издания, ходившие по рукам в кругу друзей, так в дни румынской революции они с полным единодушием собирали одежду, без которой могли обойтись, покупали консервы — и сами везли все это в Надьварад, чтобы передать друзьям детства Анико. Родители Анико погибли в автокатастрофе; с родственниками же своими, которые осуждали ее за то, что она перебралась в Венгрию, она отношений не поддерживала.

Во время вторых свободных выборов, сразу после развода, они голосовали уже за разные партии. Он, размышляя над этим, догадывался, конечно, что это не следствие их разрыва; как, впрочем, не мог себя утешать и тем, что подобные несогласия могли стать причиной взаимного охлаждения.

Прошло еще полгода, и он стал с отвращением думать о новом правительстве, на которое до сих пор возлагал большие надежды, и в дальнейшем решил не придавать значения тому, кто находится у кормила; ведь и люди, пришедшие к власти, никакого значения не придают тому, что они обещали перед выборами народу. Анико во время их редких встреч, вполглаза поглядывая на экран телевизора, иногда спрашивала с иронией: ну что, видишь, Томи, за кого ты проголосовал?

Ему оставалось лишь кивать: возразить было нечего… Однако теперь, слыша в списках кандидатов знакомые имена, он все еще был не в силах понять, как могло получиться, что те глубокие разногласия, что существовали между ним и Анико, не давали о себе знать раньше, сразу после того, как произошел политический перелом… Он поморщился и выключил радио.

На мосту движение в самом деле шло поживее, и он прибыл на парковку фирмы с опозданием всего на четверть часа. Как всегда в таких случаях, ему стало неловко, когда вахтер, подобострастно улыбаясь, показал ему на приберегаемое для него место, потом кинулся к машине, открыть дверцу. Тамаш никак не мог привыкнуть к такому обращению и старался поскорее выбраться из машины, чтобы успеть протянуть руку подбежавшему вахтеру. Так он поступал всегда, а потому нередко забывал в машине привезенные с собой бумаги и потом, придя к себе в кабинет, вынужден был звонить на вахту и просить, чтобы бумаги принесли к нему на третий этаж. Так что мало-помалу ему приходилось свыкаться с тем, что служащие выказывают знаки почтения к его статусу.

3

Разобравшись с самыми неотложными делами, он написал сыну в Бостон электронное письмо. И, стараясь выражаться как можно мягче, попенял Андрашу, что за последние две недели тот не прислал ни строчки. «*Матери-то ты написать наверняка не забыл. Только не надейся, посылку с пончиками она тебе туда все равно не пошлет*», — закончил он шуткой. Но в словах его сквозила обида.

Андраш третий год учился в Бостонском университете. Жил он на стипендию, которой ему то удавалось добиться, то нет, и на средства, присылаемые отцом и отцовым дядей, давно перебравшимся в Нью-Йорк. Когда племянник, Тамаш, с которым они лет двадцать не поддерживали никаких отношений, вдруг обратился к нему с письмом, прося помочь сыну, и сделал это так, будто они переписывались по крайней мере каждую неделю, — дядя Йошуа сначала удивился, потом испытал даже некоторое удовлетворение. Во всяком случае, Андрашу он согласился помочь; правда, тот после первых трудностей и сам быстро научился стоять на ногах.

Деньги от дяди Йошуа регулярно, из семестра в семестр, без всяких просьб поступали на банковский счет Андраша. Каждый раз Андраш чувствовал некоторую неловкость. Со старым господином он встречался всего дважды: первый раз, когда приехал в Штаты, и второй, когда пожилая пара пригласила его в гости; во время этого визита он чувствовал себя не в своей тарелке. Супруги показались ему людьми замкнутыми, да еще и с целой коллекцией странных привычек. Получив перевод, Андраш вымучивал из себя вежливое благодарственное письмо: этому он научился у сокурсников, которые жили на такие же средства. Не считая этих писем, раз в месяц или два они звонили друг другу. В разговоре речи о деньгах никогда не шло.

В Бостоне Андраш освоился быстро. У него были маленькие увлечения и даже три продолжительных романа: с украинкой, южной кореянкой и с девушкой из Чикаго. Однако прочных отношений он так ни с кем и не смог завести — и в конце концов впал в депрессию, сам себе опротивел. За последний год он даже не пытался с кем-нибудь сблизиться. Родители о его сердечных делах понятия не имели: тема эта в их семье считалась запретной.

Андраш страдал от одиночества, от несерьезности приятельских отношений, от однообразия студенческих вечеринок, участники которых пытались спрятать скуку широкими улыбками, громкой речью, гарантированно бесхолестериновыми салатами и безвкусными тортами. Правда, на горизонте мелькнуло несколько конкурсов, обещавших неплохие должности, и он бы вполне мог участвовать в них, даже еще не получив диплома. Захоти он, у него были серьезные шансы и на получение гражданства, особенно при поддержке дядюшки; однако он не мог найти в себе достаточно решимости, чтобы остаться тут навсегда, стать американцем. В то же время и домой возвращаться ему было незачем, и чем дальше, тем сильнее он убеждался в этом. Будапештские друзья быстро стали далекими и чужими, письма от них приходили все реже, даже во время летних каникул они не находили возможности встретиться с ним.

Андраш знал, что родители без него скучают, и это немного его утешало; иногда ему тоже их не хватало. Обо всем этом он им, конечно, не писал. На письма матери он отвечал очень подробно, описывая свой распорядок дня, мелочи быта. Отцу же писал раза два-три в месяц, весьма кратко,

сообщая об учебе и книгах, которые прочитал. Но в письмах и тому, и другому старался не касаться своих подлинных чувств и проблем, правда, почти всегда спрашивал мать об отце и наоборот…

В это утро, когда отец упрекнул его в молчании, Андраш как раз сидел перед компьютером, сочиняя письмо.

А Тамаш, после очередного совещания вернувшись к себе в кабинет, обнаружил, что ответ от сына уже пришел. Правда, заглянув в текст, он понял, что это не ответ вовсе.

Письмо Андраша было на удивление длинным: никогда еще сын не писал ему так пространно.

Здравствуй, папа!

Недавно со мной произошло нечто странное; чувствую, я должен об этом тебе рассказать. Три недели назад у нас в университете был вечер по случаю Дня благодарения; всем, кто не уехал на праздник домой, приличествует посещать такие мероприятия, хотя бы показываться на них. Мой сокурсник, Даниэль (он биолог, живет в Нью-Йорке), познакомил меня с одним раввином: он из университета Брэндис, но работает и у нас. Дело в том, что его жена — уроженка Надьварада, как и мама, так что раввин даже знает пару слов по-венгерски. Я не очень понимал,

о чем с ним говорить, но пришлось изображать дружелюбие. Даниэлю было еще хуже: увидев его в толпе, раввин театрально раскрыл объятия, радостно обнял его, ну и всячески выражал свой восторг. И все нес какую-то библейскую ерунду насчет важности возвращения, а потом опять бросался обнимать Даниэля. Тот стоял красный как рак, не зная, куда деваться. Народ вокруг просто давился от смеха. Даниэль, который раньше учился в Брэндисе, рассказал мне, что за четыре года, пока он находится в Бостоне, он встречался с раввином всего трижды. Один раз видел его на богослужении по случаю какого-то еврейского праздника, еще раз — на пасхальном ужине, но ужин тянулся ужасно долго, и он на середине сбежал, а в следующем году пошел куда-то в другое место. И вот третий раз — сегодня. Но раввин почему-то решил, будто они — чуть ли не закадычные друзья.

Познакомь меня с твоим другом, сказал раввин, повернувшись ко мне. Должен сказать тебе, что он — огромного роста, под два метра, с седой бородой. Я представился. Даниэль сообщил, откуда я, чем занимаюсь. Тот долго тряс мне руку, потом поинтересовался, как моя фамилия. Я решил, что он не расслышал, и повторил еще раз.

Он покачал головой, потом вдруг спросил, не знаю ли я, какой была наша настоящая фамилия. Что это за настоящая фамилия, папа? Ты об этом что-нибудь можешь сказать? Откуда он это взял? Я только головой мотал, а он заявил: ему известно, что в начале столетия у нас принято было менять фамилии на венгерские, и очень многие сменили, так что наша фамилия тоже, похоже, из таких. Потом спросил мамину фамилию. Я старался отвечать вежливо, но такая навязчивость, честно говоря, меня несколько шокировала. Тут вообще-то не принято допытываться, кто ты и что. А шокировало это меня потому, что в свое время, кажется, нацисты вот так же раскапывали прошлое каждого человека. Я ответил: вы, видимо, ошибаетесь, это и есть наша ***настоящая*** *фамилия, насколько мне известно. Я надеялся, этим вопрос будет исчерпан, но он все не мог успокоиться. Я, говорит, понимаю, тут не время и не место для серьезного разговора, но я бы охотно побеседовал с вами в более спокойной обстановке. Зайдите, говорит, ко мне в офис. Наверное, я был не очень вежлив, но мне стало неприятно, что он так навязывается, и я, чтобы его отшить, сообщил ему то, что всегда слышал от тебя: наша семья не имеет ни-*

какого отношения к религии, ни к христианской, ни к любой другой, мы атеисты. Тут раввин засмеялся, обнял меня и сказал, что это тоже дело обычное, а потом, вроде как по секрету, добавил: там, откуда вы приехали, никогда не известно, чем человек дышит.

Мало что прояснилось и после того, как я, выполняя обещание, пришел к нему (это было вчера) в его офис, в Брэндисском кампусе. Даниэль отказался со мной идти, только ухмыльнулся, когда я его позвал. Я, говорит, уже был на таком допросе, а ты сходи, сходи, через это надо пройти. На то он и раввин, его дело — предпринимать попытки. Он что, пытается нас в свою веру обратить? — спросил я, но Даниэль только рукой махнул.

Раввин опять стал меня расспрашивать: про деда, прадеда, кто когда и как умер, где был во время Второй мировой войны? Я сообщил ему то немногое, что слышал от вас и что помню. Про дедушку с бабушкой смог сказать только, что они пересидели самое страшное время штурма в подвале.

Он долго молчал; я уже подумал, тут что-то не так. Потом он спросил, живы ли еще дедушка с бабушкой или другие родственники из старшего поколения, на что я ответил: нет, только мамин

двоюродный брат. Но он почему-то интересовался только твоей семьей. А как их хоронили, спрашивает. Я говорю: что вы имеете в виду? Ну, мол, со священником или нет? Нет, говорю, на кремации только семья была, и речь произносил только ты; во всяком случае, так мне рассказывали, а меня там не было. Тут он опять покачал головой, потом перелез через груды книг, с трудом открыл дверцу шкафа и вытащил оттуда подсвечник с восемью рожками для свечей. Дал его мне в руки и спросил, видел ли я такой у кого-нибудь из родственников. Не помню, говорю. А знаю ли я вообще, что это такое? Должно быть, что-то связанное с еврейской религией, говорю. Правильно, кивает он. В древности, когда евреи отбили у сирийских захватчиков иерусалимское Святилище, у них нашлось освященного масла всего на один день, но горело это масло целых восемь дней, пока не приготовили свежего. В память об этом и празднуют Хануку, само слово так и переводится: освящение. Объяснил он мне это, а потом вдруг сказал: через десять дней как раз будет празднование Хануки, по случаю возжжения восьмой свечи, и пригласил нас с Даниэлем прийти, если будет желание. И попросил, чтобы я узнал у тебя, был ли такой подсвечник у

кого-нибудь из нашей родни?

Когда я уходил от него, у двери ждала своей очереди очередная жертва — крупная белокурая девица из Нью-Джерси, она тоже учится в Брэндисе. Знаешь, если все формальности будут позади, у меня для тебя готова чудесная невеста, сказал мне, подмигивая, этот чокнутый раввин, причем так, чтобы девица тоже слышала, и тут же подтащил меня к ней и представил. Я чуть сквозь землю не провалился, а та идиотка стояла и хихикала. Не понимаю, про какие формальности он говорил. И вообще как-то дико звучала вся эта чушь.

Все это было вчера. А когда я позвонил дяде Йошуа и спросил, что он об этом думает, он расхохотался в трубку и сказал что-то, чего я не понял. Что-то вроде пословицы на идише, переводится примерно так: чеснок воняет долго. Но ты, говорит, не обращай внимания, здесь свободная страна. Папа, ты понимаешь, при чем тут чеснок? Я, во всяком случае, догадываюсь, кажется, на что намекал раввин; думаю, я достаточно рассказал, чтобы ты тоже понял, что к чему. Почему вы мне никогда об этом не говорили? Я должен знать правду! Напиши срочно!

Маме я позвоню. А тебе желаю счастливого

Рождества. Ответь как можно скорее.
Пока!
Андраш

Он бежал взглядом по строкам все быстрее — и чувствовал все большее волнение. У него дрожали руки, когда он прочел письмо и почти машинально распечатал его на принтере. Потом, не вставая с кресла на роликах, перекатился от компьютера к столу и, чтобы оттянуть время, не думать пока над ответом, вновь углубился в текст. Но сколько он его ни читал, откуда ни начинал, смысл письма оставался тем же, и знаки, вопросительные и восклицательные, так же грозно вставали в конце.

В последние годы он с нарастающей тревогой следил за потоками ненависти, что лились по радио и с телеэкранов. В минуты депрессии он не раз говорил себе, что ведь, в самом деле, надо как-нибудь сесть и обдумать все это, попытаться ответить на вопросы, которых он, а вместе с ним все его поколение в свое время более или менее успешно смогли избежать. Или считали, что все, что с этими вопросами связано, отошло в область предрассудков, давно потерявших актуальность. Лично для него его происхождение не значило ровно ничего… ну, если не считать того неприят-

ного обстоятельства, что есть люди — к счастью, небольшое, хотя и довольно шумное меньшинство, — которые с совершенно непостижимой яростью желают ему, из-за его происхождения, всяческого зла, даже смерти. Чтобы не отравлять себе жизнь, он просто старался не думать об этом.

Как-то раз, в начале шестидесятых годов, придя из школы (он учился тогда в седьмом классе), он рассказал, что они вдвоем с приятелем хорошо отлупили одного своего одноклассника — за то, что тот завистник, ябеда и вообще еврей пархатый. Услышав это, отец побагровел, схватил его за плечи, притянул к себе и вне себя закричал: смотри мне в глаза, Тамаш, смотри, вот перед тобой еще один еврей пархатый, а еще мама придет с работы, и перед тобой будут два еврея… И потом, все еще красный, тяжело дыша, говорил: дедов своих ты потому не знаешь, Томи, что другие люди не просто били евреев, а выгоняли их голыми на тридцатиградусный мороз, да еще и водой обливали, а в других местах расстреливали, в газовые камеры загоняли…

Он до сих пор помнит горящий взгляд отца. В этом взгляде было безумие. В лице его, в плотно сжатых, трясущихся губах смешалось все: ужас

и возмущение, стыд и бессильный гнев, обида и упорство. В память Тамаша навсегда врезались и этот взгляд, и поднятая для удара отцовская рука, которая остановилась на полпути. Это лицо и эта рука — все это для него и означало: еврей. Открыв глаза, он увидел дрожащие отцовы губы, слезы в глазах и пальцы, судорожно стиснувшие его руку. Он не мог понять, хочет отец его оттолкнуть или, наоборот, обнять. Когда он, придя наконец в себя от испуга и удивления, вновь обрел способность говорить, из бесчисленных вопросов, роившихся у него в голове, он произнес почему-то лишь один: а что это такое — газовая камера?

Позже, когда он вспоминал ту сцену, ему казалось: если бы отец все же ударил его, это была бы не такая боль, как та, которую он испытал, увидев этого кряжистого, по-медвежьи сильного человека слабым, плачущим. Лишь спустя годы до него дошло, что отец никогда — ни до того, ни после — не поднимал на него руку. Тот эпизод был единственным, и он чувствовал, что отца и самого глубоко потрясла его вспышка. Как бы то ни было, с тех пор Тамаш никогда не произносил слово «еврей». Никогда — за исключением одного случая.

Где-то за два месяца до женитьбы на Анико

он завел с ней разговор, который считал решающим: в разговоре этом он хотел сообщить ей о своем происхождении. Их роман длился уже полтора года, но теперь отношения приняли такой серьезный оборот, что он посчитал своей обязанностью открыть ей глаза на то, что до сих пор считал не таким уж важным. Знаю, ответила Анико, когда он, бледнея и борясь с тошнотой, произнес заготовленную фразу. Но то, что Анико сказала после этого, просто ошеломило его, заставило забыть все свои мучения. Будь ты хоть готтентотом, я бы все равно за тебя вышла. Они крепко обнялись и поцеловались, и Анико лукаво шепнула ему на ухо: теперь понимаю, почему мама мне говорила, что с вами, евреями, нашей сестре надо быть осторожной — кто вас один раз попробует, всю жизнь будет хотеть «шоколада». Хозяева квартиры, где он снимал комнату, как раз уехали на дачу, и они с Анико не расставались до утра. Потом уж, задним числом, он понял, каким грузом давило на него предстоящее объяснение. И лишь теперь, спустя двадцать с лишним лет, связал игристое, как шампанское, воспоминание о той ночи с ощущением свободы и облегчения.

Лишь теперь — когда сын предъявил ему счет, поставив лицом к лицу с фактом, о котором ему,

отцу, до сих пор не нужно было думать.

4

На столе задребезжал телефон. Секретарша напомнила ему: прием вот-вот начнется, пора идти; он что-то раздраженно буркнул в ответ и, сложив письмо сына, сунул его в карман пиджака. Встал, выключил компьютер, потом снова вернулся к столу и принялся набирать сотовый номер Анико. Мобильник он сам купил ей на второе после развода Рождество. «Чтобы я всегда мог знать, где ты находишься», — написал он, не совсем, может быть, в шутку, на карточке, и бывшая его жена, прочитав это, на мгновение вроде бы даже расчувствовалась, но тут же взяла себя в руки и кокетливо сказала: «Конечно, если я тоже этого захочу».

До Рождества оставалось три дня, и он вдруг вспомнил, что они еще не договорились, как будут праздновать. Ему представлялось нормальным, что все будет так, как почти всегда после их развода. Они вместе проведут вечер, Анико удивит его каким-нибудь изысканным ужином и потом останется на ночь. Правда, случалось и так, что у кого-то из них имелся другой партнер, и тогда второй старался сделать вид, что для него

все это вполне естественно. Они договаривались встретиться где-нибудь перед обедом, чтобы передать друг другу подарки. Как раз в один из таких случаев он и подарил Анико мобильник: она мечтала о нем еще в те времена, когда они были вместе.

В трубке послышался сигнал автоответчика. Тамаш постарался говорить сдержанно, чтобы не выдать, как важно ему узнать, будут ли они встречать Рождество вместе. Несколько секунд он колебался, сказать ли Анико про необычное письмо сына, но потом решил промолчать. Нажав на рычаг, он не сразу положил трубку. Ему пришло в голову, не позвонить ли в Нью-Йорк, дяде Йошуа, и не попросить ли помощи у него. С дядей отношения у них прекратились как раз после того, как тот, приехав в Пешт, неодобрительно отозвался об Анико: тогда она ходила еще в невестах.

Чтобы в нашей семье — шикса, процедил сквозь зубы дядя, немолодой уже, сильно растолстевший агент по продаже недвижимости, когда Анико ушла на кухню варить кофе, — это уже слишком. Отца твоего никак не назовешь хорошим евреем, да простит его Господь, но даже ему в голову не пришло бы жениться на гойке, сказал он, потом

поджал губы и долго качал головой. На лбу у дяди выступили капли пота, хотя в комнате было не так уж жарко.

Таким он дядю и запомнил на все двадцать лет, пока они не поддерживали отношений друг с другом. Лишь когда Андраш собрался в Америку, Тамаш сделал над собой усилие и написал старику. Постаравшись забыть обиду и пренебрежительные слова, которые особенно странно было слышать из уст человека, прошедшего Освенцим, он просил помочь сыну освоиться в Америке. Дядя, покинувший Венгрию в пятьдесят шестом, ответил без промедления. В письме, написанном мелким четким почерком, на безупречном венгерском языке, он сообщил, что рад будет увидеть сына своего единственного племянника.

Тамаш опасался, что даже недолгое пребывание в Нью-Йорке оставит у Андраша неприятный осадок; но потом, когда тот обосновался в Бостоне и позвонил домой, он, устроив сыну небольшой допрос, успокоился. Пока Андраш жил у дяди, тот ни разу не упомянул о своем отношении к матери парня и не сказал ничего, что могло бы смутить его или обескуражить…

Пока Тамаш раздумывал, стоя с трубкой в руке,

опять заверещал внутренний телефон. Он снова что-то буркнул секретарше. Правда, потом, выйдя из кабинета и увидев ее обиженные глаза, попросил у нее прощения: ведь она просто хотела сказать ему, что в самом деле пора — и генеральный директор, и хозяин-голландец со свитой уже двинулись на второй этаж, в конференц-зал.

Прозвучали краткие речи, в которых давалась оценка работе за год, говорилось об ожидаемой прибыли; затем гости, числом около ста человек, столпились вокруг столов, ломившихся от закусок.

Во время приема Тамаш перекинулся парой слов с Жужей Вадаш, пиар-менеджером фирмы, полновато-стройной брюнеткой немного моложе его; та явно старалась оказаться рядом, однако он, боясь, чтобы это не бросилось в глаза остальным, извинился и отошел. С Жужей у него был роман, и длился он целых полтора года; но ему не хотелось, чтобы по фирме поползли слухи. В рабочее время он разговаривал с ней подчеркнуто официально, и это, по всей видимости, обижало честолюбивую женщину. Поэтому связь их как-то незаметно сошла на нет.

Держа в руке высокий бокал, он чокался со всеми, с кем полагалось чокаться по протоколу.

Но если бы кто-нибудь понаблюдал за ним, то наверняка бы заметил, что он ни разу даже не пригубил шампанского. Он старался держаться весело и непринужденно, однако в фирме многие знали, что спиртного он в рот не берет.

Прежде, участвуя в корпоративных вечеринках или поддавшись на уговоры зайти с коллегами в бар и сидя там с чашкой кофе, стаканом колы или лимонада, он наслушался немало шуток в свой адрес. Но что делать, если запах, а тем более вкус спиртного вызывают в нем неодолимое отвращение? Часто он и сам рад был бы избавиться — пускай с помощью вина — от нервного напряжения, отдаться общему веселью, но не мог ничего поделать с собой. Не выносил он и грубых острот, фамильярности, непрошеных откровений, подтрунивания. И потому чаще всего, не имея возможности отказаться от участия в пьянке, старался найти какой-нибудь благовидный предлог, чтобы поскорее уйти домой.

В последние годы, после приватизации, когда он превратился в босса, его уже не осмеливались склонять к участию в попойках. Да и работы стало гораздо больше: зачастую было просто не до веселья. Что же касается совещаний у руководства (а совещания эти затягивались иногда до

поздней ночи), то голландцев, новых владельцев фирмы, его неприязнь к спиртному даже устраивала. Правда, сам он ничего не делал ни ради укрепления этого мнения, ни ради того, чтобы рассеять неодобрение коллег, спрятанное под более или менее добродушной иронией: он просто не переносил алкоголя. Он и сейчас не пил, лишь съел несколько бутербродов с салями и с гусиной печенкой. Перекинулся парой шуток с членами голландской делегации и с генеральным, который уже неплохо говорил по-венгерски: он давно предупредил их, что должен уехать на похороны, а потому постарается незаметно исчезнуть. Конечно, по протоколу ему следовало бы уйти с приема одним из последних; однако шеф, которому он уже три недели назад сообщил о своей печальной обязанности, смирился с этим: почтение к мертвым — тоже дело немаловажное.

Сев в машину, он попытался еще раз позвонить Анико; ему снова ответил автоответчик. С некоторым раздражением он оставил сообщение, попросив известить его о рождественских планах.

5

В воротах Обудайского кладбища машину не остановили. Но ему не хотелось гулом мотора нарушать тишину, и он предпочел поставить свою «мицубиси» на стоянку, а дальше идти пешком. Правда, идти пришлось чуть ли не рысью; однако за минуту до четырех часов он был перед ритуальным залом; там его уже ждал распорядитель в черной униформе.

Вскоре служитель вынес из ритуального зала урну; распорядитель подошел к Тамашу, протянул ему руку и выразил искреннее соболезнование. «Искреннее…» — ну, это, пожалуй, не совсем так, подумал он, пожимая руку. Служитель двинулся к постаменту в середине лужайки, окаймленной цветочными клумбами, и поставил туда урну.

Тем временем распорядитель попросил его отойти за край лужайки и, хотя он не произнес ни слова, призвал проявить терпение. Тамаш остался один против урны, находящейся метрах в двадцати от него. Ему было очень не по себе; он переминался с ноги на ногу, отвел взгляд, вновь повернулся к урне, зябко потерся подбородком о

воротник пальто.

На похоронах ему всегда было как-то не по себе: не способен он был воспринимать смерть как часть жизни. И старался забыть о ней, пока это возможно, прогоняя даже мысль о смерти, которая иной раз возникала совсем неожиданно. Родители в свое время часто говорили о том, как они хотят быть похороненными; говорили таким естественным тоном, будто меню завтрашнего обеда обсуждали. Тамаш старался делать вид, что ничего не слышит. Иногда даже сердито обрывал эти — нельзя сказать, что очень уж грустные, скорее деловые — обсуждения. И, взрослея, все более настойчиво протестовал, когда они в его присутствии говорили о своей смерти, а то еще и спрашивал, зачем им это нужно? Может, они просто хотят досадить ему таким образом? Позже случалось, что, едва они заикались о своих похоронах, он поднимался и молча уходил из комнаты.

Сынок, говорить о смерти нужно, потому что мы должны быть готовы к ней, убеждал его отец. Человек обязан к ней готовиться: ведь спокойно ты можешь жить только с уверенностью, что если вдруг исчезнешь, то после тебя не останется незаконченных дел. И, обернувшись к жене,

матери Тамаша, продолжал начатый спор. Она настаивала на кремации: она не хочет, чтобы ее черви съели, об этом она не могла думать без отвращения… Отец, который в то время уже более открыто говорил о своем еврействе, потянулся через стол, взял руку матери и, задумчиво склонив голову набок, слегка щурясь, сказал: ну не странно ли, что еврейка, прошедшая через концлагерь, добровольно выбирает крематорий? Мать только рукой махнула: из праха мы вышли, в прах обратимся, а без червей все-таки хотелось бы обойтись… Позже, когда отец смирился с мыслью, что когда-нибудь будет покоиться рядом с женой, тоже упакованный (тут у него на губах появлялась грустная и лукавая улыбка) в «почтовый ящик» — так он почему-то называл урну, — Тамаша он мог вывести из себя уже словами: надеяться, что сын все сделает как полагается, бесполезно, а потому, спокойствия ради, ничего не остается, кроме как заранее оплатить все счета, заказать урны и оплатить место в колумбарии Фаркашретского кладбища.

Теперь, десятилетия спустя, когда Тамаш вспоминал эти разговоры, сердце у него сжималось: ведь за иронией отца скрывался действительный страх перед неизвестностью, черным провалом

зияющей за последней чертой.

Ему было до боли жаль отца, и, чтобы не нанести ущерб родительскому авторитету, он скрывал жалость под неловкими шутками. К тому же его всерьез обижало пренебрежительное отношение к его деловым способностям: отец, пожалуй, на самом деле считал, что сын не сумеет достойно вести себя там и тогда, где и когда ты выполняешь, может быть, самый святой долг в своей жизни… Вообще-то представления о «святом долге» и прочем были Тамашу глубоко чужды. Религию — любую религию — с ее догмами и ритуалами он ощущал как нечто не имеющее к нему никакого отношения, и тем не менее акт последнего прощания был исполнен в его глазах неким потусторонним, священным смыслом, хотя выразить словами, в чем этот смысл заключается, он бы, конечно, не смог.

Став взрослым, он часто становился свидетелем и участником подобных разговоров. Лишь много позже он понял, что у родителей это было признаком беспомощности и тревоги. Они не знали, как им относиться к своему единственному сыну, который уже не ребенок, не нуждается в их помощи, становится равноправным партнером, не зависит от них; более того, он сам рано

или поздно может стать им опорой. Эту мысль, догадался он годы спустя, вынести тоже не так-то просто. Он, со своей стороны, всегда скрупулезно следил за тем, чтобы не впасть в подобное заблуждение относительно собственного сына. И как ему казалось, в этом плане он не допустил ошибок. В этом плане — нет.

Ему вспомнилась его собственная, потерпевшая крах семейная жизнь, и сразу за этим — полученное в полдень электронное письмо. Что ему на него ответить? Что в конце двадцатого века подобные первобытные предрассудки — чушь собачья? Особенно если ты по всем статьям принадлежишь совсем к другой среде, к другому сообществу… И уж тем более если речь идет об Америке, где не принято ставить клеймо на ком бы то ни было, никого нельзя принудить быть тем, кем он быть не желает… Ведь он отчасти еще и поэтому с некоторой радостью, или, по крайней мере, без тревоги, встретил весть о бостонской стипендии сына, хотя ему и больно было сознавать, что теперь они будут видеться раз, в лучшем случае два раза в год. И вот тебе: как следует из письма, Америка, свобода, отсутствие принуждения, привычка никого ни в чем не попрекать — все это лишь слова, и Андраш его

же, своего отца, попрекает за то, что он не запер его в гетто! Глубинные корни, зов крови, миф первородства! Нет, это не тот удел, который он готовил для Андраша. И пускай тут, на Балканах, все это сейчас опять в моде, все равно он — решительно против!..

Тут его сбили с мысли. Распорядитель уже второй раз осторожно покашлял: дескать, пора начинать. Он огляделся, увидел, что все его ждут, и поднял руку: начинайте.

Из громкоговорителя над входом в ритуальный зал вырвались, скрежеща, аккорды «Реквиема» Верди. Но их тут же заглушил пронзительно-скрипучий звук, напоминавший вой электрической мясорубки: он несся от урны. Не знай Тамаш, что в урне находится лишь пепел, он подумал бы, что в ней перемалываются кости. По спине у него поползли мурашки… Но в следующий момент из верхушки урны вылетела струя воды, потом вода стала брызгать и сбоку. К моменту драматической кульминации «Реквиема» фонтан забил вовсю, и адский визг и скрип прекратились.

Прошла минута… или десять минуть — он не мог сказать, — пока поникла и иссякла последняя тонкая струйка. Он стоял в каком-то оцепенении… Распорядитель с помощником опять

подошли к нему выразить глубочайшее соболезнование. Он очнулся, достал бумажник, нашел в нем две тысячные купюры и протянул им. Спустя минуту ни служащих, ни урны не было.

Лишь теперь, оставшись один, он вспомнил про тетку: до этого момента вид урны словно отшиб ему память. Мысль о том, что в круглой металлической коробке крутится, перемешивается бренный тетушкин прах, а потом разлетается, вместе со струями воды, во все стороны, настолько овладела им, что ни о чем другом он думать не мог. Тетка была гораздо старше его матери, однако намного пережила ее, хотя готовилась к смерти уже добрых пятнадцать лет. Раз в неделю он звонил ей, раз в месяц заходил навестить. В последнее время старушка совсем впала в маразм — и рассказывала ему о своих берген-бельзенских впечатлениях так, словно он, родившийся после войны, провел там с ней все десять месяцев. Помнишь? — все время спрашивала она, вспоминая какой-нибудь эпизод.

Первое время он еще пытался вернуть старую даму в координаты реального мира, но малопомалу понял: для обоих будет проще, если он станет кивать и соглашаться. Прежде тетка никогда не рассказывала о депортации, а теперь не

могла сдержать поток слов; события, местности, люди, время — все путалось и кружилось в ее сюрреалистических монологах. Но местом действия или финальной сценой обязательно был лагерь, к нему она всегда возвращалась, следуя капризному течению своих смутных ассоциаций; тут разговоры их обычно и завершались, словно после лагеря в ее жизни, на протяжении пятидесяти с лишним лет, вообще ничего больше не было. Словно мироздание для нее завершилось Берген-Бельзеном не только во времени, но и в пространстве: вернувшись домой, она никогда больше не садилась на поезд и ни разу никуда не уезжала из Будапешта.

Он жалел тетку, оставшуюся ему как наследство от матери, и по мере сил помогал ей, но полюбить ее так и не смог. Из-за этого его часто терзало чувство вины. Как терзало оно его и теперь, когда он, узнав три недели назад, что девяностотрехлетняя старушка в одно прекрасное утро просто не проснулась, вздохнул с облегчением. Легкая смерть — награда за трудную жизнь, подумал он, услышав в телефонной трубке голос теткиной домработницы, сообщившей ему печальную новость… Сейчас, направляясь к воротам кладбища, он говорил себе, что со своей стороны сделал все,

чтобы тетка в последние месяцы не ощущала себя одинокой и всеми покинутой и чтобы обрела покой согласно своей последней воле; значит, он может теперь не испытывать чувство вины. Он хорошо знал, почему ему хочется поскорее — хотя рано или поздно это все равно станет неизбежным — подвести итоги своим отношениям со старшим поколением. Ведь даже сейчас, спустя столько времени, ему не давало покоя родительское завещание, в приложении к которому отец сообщал ему о решении, принятом им с матерью вместе; суть этого решения сводилась к следующему: они не хотят и *потом* быть ему обузой, а потому, чтобы избавить его от угрызений совести — да ведь урны и не требуют какого-то особого ухода, — они просят навещать их, скажем, раз в три года, и пускай первый такой визит произойдет, когда внук достигнет совершеннолетия. В этих фразах Тамашу слышалась обычная отцова ирония. Родители были ровесниками, мать умерла в возрасте семидесяти трех лет, отец после этого полгода мучился одиночеством и черной тоской, потом сдался. К сыну переселяться он не захотел, предпочел страдать и умереть один.

Он не мог простить им завещание, которое они составили за несколько лет до кончины. Заве-

щание, куда отец включил даже советы (тоже не лишенные иронии), как сыну следует поступить с наследством: с громадной квартирой на Большом кольце, коллекцией картин, семейными драгоценностями, а также с деньгами, собранными понемногу за последние годы и вложенными в венский и цюрихский банки.

Отец не хотел заниматься производством текстиля, как диктовала семейная традиция; он еще до войны собирался стать банкиром, но после тысяча девятьсот сорок девятого об этом, естественно, и речи не могло быть, поэтому он работал в Центре финансовых исследований; там он нашел и жену себе. Он никогда не смирился с тем, что коммунисты, пришедшие после нацистов, отобрали у него остаток семейного состояния. Он и после сорок девятого не верил в будущее; дважды в год они ездили за границу — только затем, чтобы поместить в надежное место то, что им удавалось скопить, или, как он говорил, что у них еще осталось. На себя они не тратили ничего: они не умели радоваться приобретениям; все, что у них было, они с удовольствием израсходовали бы на семью сына, а особенно на единственного внука. Сын же теперь, напротив, тихо гордился тем, что так и не тронул оставшихся после них денег;

одно его удручало: они об этом уже не узнают.

Когда ему, после их смерти, вручили завещание и он перечитал его несколько раз, а потом, весь бледный, рассказал жене, что содержат эти листки, исписанные аккуратными, почти печатными буквами, Анико тихо заметила: родители и теперь заботятся о нем, потому что он все еще — большой ребенок, и, подойдя к нему, обхватила его за шею и притянула его голову себе на грудь. В этот момент Тамаш почувствовал, что в нем что-то оборвалось, и раздраженно высвободился из ее рук. Она подумала, что он подавлен и замкнут от скорби; на самом же деле он понял, что чаша его терпения переполнилась. Она даже в тот момент повторила то, что они с его отцом и матерью, обмениваясь понимающими улыбками, постоянно тыкали ему в глаза. Его бесило, что Анико, сама рано оставшаяся сиротой, теперь, став членом их семьи, в его извечном конфликте с родителями всегда занимает — порой так, что ее и поймать на этом нельзя, — их сторону. Она, «умница и красавица», которая всегда «готова к действию» и этим «удачно дополняет» его, рохлю и размазню, стала их любимицей. Он терпеть не мог снисходительных взглядов, терпеть не мог, когда его мать и жена заговорщически улыбались друг другу, а

отец, глядя на сноху, многозначительно кивал и одобрительно щурил свои, слишком маленькие для его могучей фигуры, хитрые глаза.

Тогда ему хотелось остаться одному, совсем одному, со всеми трудностями, которые отсюда вытекали. Сейчас он вспоминал это совершенно четко. Они должны были умереть, чтобы он смог развестись с женой… Он даже закусил губу от этой мысли, выходя из ворот кладбища…

6

Достав мобильник, он еще раз попробовал позвонить Анико. Ему подумалось, что, может, не стоит ждать Рождества, а заскочить к ней прямо сегодня и показать письмо Андраша, чтобы не одному решать, как поступить. Он расскажет о похоронах тетки, они выпьют кофе, а если удастся не ругаться какое-то время, то она соорудит какой-нибудь ужин. А там, глядишь, и пригласит остаться на ночь… Он уже достаточно остыл, чтобы поговорить с ней спокойно… Но Анико не отвечала ни по домашнему, ни по мобильному. Услышав в очередной раз сигнал автоответчика, он со злостью сунул мобильник в карман и выругался сквозь зубы.

План полетел ко всем чертям, и это совсем расстроило его. На выходные абсолютно ничего не вытанцовывалось. Даже срочной работы, чтобы взять домой, не нашлось: конец года. В гости как-то никто не позвал, самому напрашиваться… нет, так низко он еще не опустился. С тех пор как они развелись, у него было уже столько испорченных выходных… Даже когда его приглашали куда-нибудь, ему казалось, что он там лишний.

Вот сочельник обещал какое-то разнообразие. Он хотел купить для Анико какой-нибудь подарок и в праздничный вечер, в худшем случае с утра, где-нибудь в кафешке, вручить его, а она вручит ему свой. Обычно она дарила ему элегантный галстук, или альбом с репродукциями, или диск с классической музыкой; похвастаться богатой фантазией она не могла, зато всегда красиво упаковывала покупку. И не упускала случая сказать, что выбрать подарок для него очень тяжело, потому что он ничему не способен радоваться.

Рождество он переносил особенно трудно, если вечер проходил не так, как он собирался его провести. Конечно, они обменивались подарками с очередной подругой, да и рождественский ужин на столе был, встречали ли они праздник у нее или у него, в его большой, несколько необжитой квартире, в которой чистоту и порядок поддерживала приходящая домработница. Ему очень не хватало былой семейной атмосферы: Анико целый день хлопотала на кухне, а к вечеру на часок исчезала в ванной — и появлялась элегантная, надушенная, и они вместе зажигали бенгальские огни… В минувшие дни ничто вроде не говорило о том, что они не будут праздновать Рождество вместе; правда, и договоренности на этот счет

не было…

День быстро темнел. Он никогда не любил зиму, с ночами, начинающимися чуть ли не сразу после обеда и чуть ли не до обеда продолжающимися; ему недоставало света: он давно заметил, что свет влияет на его самочувствие. Когда хмурым зимним днем сквозь тучи вдруг прорывалось солнце, он оживал, начинал улыбаться, обращая лицо к свету, словно какое-нибудь светолюбивое растение, и собирал, накапливал его в душе, как растения накапливают хлорофилл. Этой зимой с начала декабря не выдалось ни одного солнечного дня. Он давно уже обещал себе, что зимой найдет возможность съездить куда-нибудь в экзотические края, где отдохнет от холода и темноты; но пока из этого ничего не выходило. Что-нибудь обязательно мешало: то конец очередного романа, то начало. Можно было бы, вероятно, подбить на такую поездку и Анико, но он чувствовал, что у него не хватит сил провести с ней целую неделю. Честно говоря, и денег было жаль на такое путешествие. Он до сих пор искренне радовался, если где-нибудь удавалось найти костюм или обувь дешевле, чем в другом месте. На Анико и Андраша он тратил деньги охотно, на себя же скупился. Словно чувствовал, что не заслуживает

хорошего отношения к себе…

Спешить было некуда, и все же его раздражало, что, опять угодив в час пик, он ползет по вечерним улицам еле-еле. Чтобы добраться домой, понадобилось более получаса. На Кольце машину поставить, конечно, не удалось; пришлось свернуть на улицу Доб, да и там поездить вдоль тротуаров, пока нашлось свободное место.

В опустевшую родительскую квартиру, три комнаты с холлом, он переехал после развода. И постоянно давал себе зарок перебраться куда-нибудь в Буду, но все никак не мог собраться с духом, чтобы заняться обменом. Из трех комнат он пользовался двумя, третью же оставлял для Андраша, когда тот, приезжая на летние каникулы домой, жил у него, а не у матери.

В передней он швырнул портфель на стул и прямо в пальто прошел в гостиную. На телефоне мигал красный сигнал: на автоответчике его ждало сообщение.

Голос Анико звучал немного принужденно. Она хорошо знала, что означает для них совместная встреча Рождества: вечер, проведенный вдвоем, на несколько часов или даже дней смягчал ощущение отчужденности. Поэтому сухие фразы, которые он услышал, конечно же таили в себе

долю лицемерия. Анико сообщала, что уезжает на праздник; когда вернется, обязательно позвонит. Видимо, она заранее составила в голове этот текст, и все же произнесла его сбивчиво, словно импровизируя. И затем, как бы оправдываясь, но с вызовом, добавила, что вопрос о поездке решился в последний момент, вот почему она не предупредила раньше. Последние слова показались ему вполне искренними. Она готовилась к возможным упрекам… И прежде чем положить трубку, с деланным оптимизмом пожелала ему счастливого Рождества.

У Анико произошло что-то важное, иначе бы она позвонила ему по мобильному и не выключала свой. Очевидно, она уезжает не одна. Он был обижен и зол, его мучила ревность. Конечно, дело не в том, что у Анико кто-то есть — после развода это естественно. Его задело, что она не предупредила заранее: на общем Рождестве пора ставить крест. Он, все еще не снимая пальто, сел в кресло возле столика с телефоном; в этом кресле отец всегда дремал после обеда; у него был принцип: «Днем спать ложиться нельзя, дневной сон отшибает разум».

Видимо, она боялась расспросов…

Кое-что из старой, потертой мебели он тут

заменил; но все равно в квартире повсюду лежали толстые красные ковры, собирающие пыль, стояли тяжелые немецкие столы и стулья с ножками в виде львиных лап; трехстворчатое окно загораживали бордовые плюшевые портьеры с золоченой каймой: даже раздвинутые, они и днем не пропускали в гостиную достаточно света. Восьмирожковая люстра из кованого железа тоже не освещала как следует огромное помещение. Он был уверен, что лишь новую квартиру мог бы обставить по-современному и в едином стиле, разместить там побольше светильников, которые создавали бы иную, более жизнерадостную атмосферу. Но хватит ли у него решимости избавиться от семейных реликвий? В этом он сомневался…

Некоторое время он так и сидел в пальто, словно готовясь встать и пойти куда-то или словно ожидая звонка, который должен прозвучать с минуты на минуту… Но идти было некуда… Он вдруг вскочил, вышел в прихожую, вернулся с портфелем. Достал из него телефонную книжку, принялся листать ее. Выбрал одно имя, набрал номер… но дамы, чей голос он ожидал услышать (она служила в одной из фирм, с которыми они прежде находились в партнерских отношениях),

не было дома, а мужской голос, сообщивший об этом, не предвещал ничего хорошего, так что просить что-либо передать он не решился… Следующая попытка тоже оказалась напрасной: поболтав минут десять с молодой адвокатшей, с которой познакомился на теннисе, он понял, что шансов у него нет. Едва он заговорил о возможности встречи, женщина насмешливо захохотала и сообщила: если он принимает ее за перчатку, которую в любое время можно надеть, а потом надолго, хоть на месяцы, забросить, то глубоко ошибается. Ему пришлось лепетать что-то насчет того, что его не так поняли, и просить прощения, что потревожил.

Он был на букве «В». Жужа Вадаш развелась примерно тогда же, когда и он, и какое-то время они успешно утешали друг друга. Жуже шел сорок второй год, она уже немного отцвела, но подчеркнутой женственностью, экстравагантной манерой одеваться и подчас не менее экстравагантным поведением все еще привлекала мужские взгляды, в том числе и его взгляд. Иногда ее присутствие утомляло, иногда — возбуждало. Как-то она вдруг заявила, что многие женщины не любят носить пояс для чулок, считая его неудобным, но лично ей просто необходимо

сознание, что она носит сексапильное белье; необходимо, даже если в данный момент у нее никого нет… Честно говоря, он совершенно не помнил, в связи с чем зашла речь об этом.

Хотя сегодня на приеме он уклонился от разговора с ней, тем не менее он не мог не заметить: Жужа ищет повода подойти к нему. Она явно давала ему понять, что ей не хватает прежних интимных отношений. Под блейзером и блузкой с глубоким вырезом, цвет которой гармонировал с загорелой кожей (она регулярно посещала солярий) и с оттенком зачесанных за уши мелированных волос, бюстгальтера, судя по всему, не было, а мини-юбка выгодно подчеркивала стройность все еще первоклассных ног. Среднего роста, пропорционально полная, она двигалась стремительно и всегда была готова к бурной реакции. А если разговор касался какой-нибудь скользкой темы, она так по-девчоночьи закусывала губы и так взволнованно хлопала ресницами, что можно было подумать: она действительно смущена.

Когда в трубке зазвучал ее удивленный голос, он почти воочию увидел ее, увидел, как она подходит к аппарату и поднимает трубку. Что, если мы поужинаем вместе, без всяких предисловий спросил он. Вот не думала, что ты позвонишь, ска-

зала она. В ее словах слышалась недоверчивость, но не отказ. Я уже разделась, чуть помолчав, сообщила она. Чудесно, ответил он, тогда я бегу. Она засмеялась. Ну-ну, сказала она протяжно и певуче, давая понять, что понимает, о чем идет речь. Потом, вздохнув, спросила: где встречаемся?

Слишком легко, слишком гладко, думал он, положив трубку, и на мгновение, на долю мгновения засомневался: а не отменить ли свидание? Потом тоже вздохнул — и позвонил в ресторан, заказать столик. Сделав это, снял наконец пальто, повесил на место черный костюм, а заодно достал голубую рубашку, выбрал темные брюки и темно-серый твидовый пиджак.

Приняв душ, он взял с полки флакон с надписью «Calvin Klein Eternity» — он получил его от Анико на прошлое Рождество — и спрыснул одеколоном шею, потом, чуть поколебавшись, пах… Запах показался ему слишком крепким; влажным полотенцем он постарался стереть часть одеколона. Стоя перед зеркалом, долго и безуспешно приглаживал упрямо торчащий вихор, потом нервно потискал пальцами вздувшиеся на висках вены. Собрался было побриться, но передумал: щетина ему идет, а если сжать зубы, то напрягшиеся скулы делают лицо более мужественным.

К внешности своей он давно привык, научился не впадать в уныние, замечая все новые и новые признаки надвигающейся старости; тем более что он надеялся: не всем это бросается в глаза. Седина видна была пока лишь на висках, да по углам рта пролегли глубокие морщины. Мелкие морщинки у глаз появились, насколько он помнил, еще на последних курсах университета, и он, дурачок, в те времена еще и гордился этим. Конечно, тогда он считал, что лицо его, по-девичьи нежное, с морщинками выглядит более зрелым. В общем и целом черты его все еще напоминали того подростка, которого вдруг стало невероятно беспокоить несовершенство его внешнего вида. Что касается телосложения, то оно так и осталось скорее хрупким, чем плотным, и подплечики на пиджаках были даже очень кстати.

Была одна вещь, из-за которой он никак не мог пожаловаться на свою бывшую жену. Хотя у нее, разменявшей пятый десяток, тело все еще оставалось упругим, не расплывшимся ни на йоту, она за все годы супружества не допустила ни единого замечания по поводу его тела, которое вряд ли можно было назвать спортивным. Если у нее и было мнение по этому поводу, то она держала его при себе, не допуская ни критики, ни

даже добродушного подтрунивания. До того как они познакомились, ни у него, ни у нее не было сколь-либо серьезных отношений с противоположным полом, и он лишь много позже пришел к пониманию: если ты в отношениях с женщиной достиг той стадии, когда вы с ней видите друг друга нагими, тут уже не имеет значения, какая у тебя фигура… Иной раз он задумывался: если бы в двадцатилетием возрасте он все видел так же ясно, то жизнь его, возможно, сложилась бы по-другому.

Человек в зеркале смотрел на него нервным, бегающим взглядом. Ах, эти твои печальные, теплые еврейские глаза, сказала однажды, уже после развода, Анико. За двадцать с лишним лет, пока они жили вместе, она ни разу не употребляла это слово, будто бы вообще забыв о том, что он еврей; поэтому слова эти прозвучали в его ушах как удар бича, хотя сказаны они были в минуту нежности и в них при всем желании нельзя было усмотреть даже намека на оскорбление. Он смутился, отвел взгляд. Бреясь по утрам или рассматривая в зеркале кровоточащие, после зубной щетки, дёсны, он и думать не думал, что видит перед собой еврея. Сколько ни изучал он свое лицо, никаких ярко выраженных семитских

черт в нем так и не обнаружил.

7

Вечером подморозило; правда, шапку и шарф он не носил с тех самых пор, как отселился от родителей. До дома Жужи, что на углу проспектов Ракоци и Карой, он доехал на машине. Подойдя к домофону, сделал длинный звонок, потом короткий, как они условились; но пока Жужа спустилась с третьего этажа, прошло минут пять.

Столик он заказал в ресторане «Мювесинаш», на площади Деак. Он был уверен, что свечи и тихая музыка сделают свое дело.

На сей раз Жужа оделась на удивление сдержанно. На ней были сапожки цвета ржавчины, длинная, до щиколоток, юбка орехового оттенка, такой же кардиган с белой блузкой, на шее — бежевый шарфик тигровой расцветки. Скромному наряду придавала экстравагантность лишь шляпа с широкими полями, не позволявшая ему видеть ее лицо. Правда, после недолгих уговоров шляпу она, на время ужина, сняла. Посетовав, что сидит на диете, она попросила себе только салат, но от напитков не отказалась и выпила два кампари с содовой. Он же заказал себе куриную грудку на гриле.

Ковыряя курятину, он думал о том, что есть ему совершенно не хочется — видимо, из-за бутербродов, съеденных на приеме. В конце концов он отодвинул тарелку и сидел, взбалтывая в своем бокале свежевыжатый апельсиновый сок. Голова гудела от Жужиной болтовни. Сплетни о сослуживцах, школьные проблемы сына, сигареты с марихуаной, найденные в его столе, нескончаемые распри с бывшим мужем: темы незаметно перетекали одна в другую, и он никак не мог прервать ее монолог. Внимание его несколько оживилось, когда Жужа принялась в красках повествовать о том, как трудно воспитывать сына. Она чувствует, что сын окончательно отдалился от нее, стал совершенно неуправляемым, хотя она все испробовала, от строгости до уступчивости, от запретов до наград, от лишения карманных денег до обещания летом повезти его в Австралию. Она душу вкладывает в воспитание этого щенка, но, видно, слишком сильно влияет на него отец, бабник чертов, который назло ей посылает парню деньги и каждый месяц возит к себе в Вену, там они развлекаются на пару, какое уж тут к черту воспитание!..

Он даже повеселел, обнаружив, что и другие мучаются проблемами, не только он. Перестав

кивать, он улыбнулся и, потянувшись через столик, погладил раскрасневшуюся Жужу по щеке, а та, поняв этот жест как знак понимания и сочувствия, еще больше вошла в раж.

Среди известных ему распавшихся пар это был вовсе не первый случай, когда ребенок, прежде такой желанный, становился для бывших супругов орудием шантажа или мести. Орудием — и вместе с тем жертвой. Надо благодарить судьбу, думал он, что нам хватило терпения дождаться, пока он вырастет и сам разрубит гордиев узел, уехав. Последние годы супружества были, конечно, чистым мучением: замкнутые в семейную скорлупу, они тихо убивали друг друга; правда, Андраша они старались щадить, держать в стороне от своих ссор…

…Наверно, и травку ему достает. В конце концов сделает парня наркоманом, продолжала Жужа свой рассказ, оживленно жестикулируя. Ты вообще слушаешь меня? — вдруг спросила она громко; он вздрогнул и снова начал кивать. За соседними столиками кое-кто поднял голову и обернулся к ним. Он поднял палец к губам: дескать, давай потише. Жужа, перейдя на театральный шепот, сказала: сделай хотя бы вид, что тебя интересует не только мое тело!

Жужа вполне могла бы обидеться, но не похоже было, что она действительно сердится на него. Она еще что-то укоризненно говорила, однако насмешливая улыбка стала вызывающей, словно она и сама знала и даже считала естественным, что партнера не очень интересует, что она говорит: он лишь терпит ее разглагольствования, чтобы добиться своего.

Он не знал, что ей ответить, только мотал головой. Дескать, нет, ничего подобного, вовсе он так не думает; и в то же время его приятно взволновало, что Жужа видит его насквозь, но не изображает возмущение, не отвергает его откровенного желания. Во всяком случае, этот маленький эпизод выбил ее из накатанной колеи, и он безрезультатно пытался, взяв себя в руки, изобразить любопытство и расспрашивать про сына: на все вопросы она отвечала язвительными репликами. Разговор застопорился.

Может, пойдем? — сказал он самым примирительным тоном, на который был способен, чтобы не испортить остатки хорошего настроения. И снова погладил пальцы Жужи; ее ногти, длинные и острые, были выкрашены в перламутровый цвет. На его нежный вопрошающий взгляд она ответила с усталой деловитостью: пойдем. Толь-

ко — к тебе, у меня сын дома.

Выйдя из ресторана, они, взявшись под руку, пошли к машине; раздражение немного отпустило их. Выехав на улицу Доб, он повернул к Кольцу, когда на пересечении с улицей Казинци перед самой машиной вдруг возникла группа хасидов в сюртуках и шляпах с загнутыми полями: они появились из-под аркад и стали перебегать улицу. Он затормозил в последний момент. Обоих бросило вперед. Он рефлекторным движением вытянул правую руку, чтобы уберечь Жужу от удара о стекло, затем положил ладонь ей на колено, чтобы успокоить. Это действительно произошло бессознательно, однако Жужа сжала коленями его руку и погладила запястье. Ласка была приятна, ему стало тепло; пока они добрались до Кольца, успокоилось и сердцебиение. Какая дикость, ворчал он, когда они остановились у светофора, в конце двадцатого века — носить такой маскарад. Тут невольно начинаешь верить, что они никогда не моются.

Он ждал от Жужи кивка в знак согласия, но она затрясла головой. Эти, по крайней мере, во что-то верят. И держатся за свою веру… Она вздохнула; потом, словно решив, что если уж заговорила, то ничего не остается, кроме как говорить до конца,

продолжила: то, что мать в тысяча девятьсот пятидесятом вступила в партию, семья ей еще простила. Но потом она вышла за моего папашу — вот этого они уже перенести не смогли… Она задумалась. Наверное, поэтому и я вышла за гоя. Так мне и надо!..

Он был совершенно потрясен, услышав это. Пару минут назад, на волоске от несчастного случая, он сумел сохранить хладнокровие, а сейчас у него даже вспотели ладони, лежащие на руле. До сих пор у них никогда не заходила речь о чем-то подобном. Он и не подозревал, что Жужа Вадаш, которую он знал уже пять лет, Жужа Вадаш, крашеная блондинка, с ее вызывающим поведением и острым язычком, — еврейка. И вот что еще невероятно: откуда она-то узнала, что он — еврей? Ведь из того, как она вдруг открыла ему подноготную своей семьи, ничего другого не следовало… У него пересохло в горле, он чувствовал, как стучит кровь в висках. И не мог произнести ни слова, лишь смотрел прямо перед собой, пока они пересекали Кольцо.

Он был искренне изумлен. Наверное, так чувствуешь себя, увидев голого человека — и обнаружив, что ты тоже голый. Его никогда не интересовало происхождение других. Он считал,

что это личное дело каждого, и избегал подобных тем не только из чувства такта: они действительно не интересовали его. О людях он судил по тому, как они себя ведут, как относятся к нему и к другим.

Его поразил не только сам факт, но и та лаконичность, сдержанность, с которой сослуживица, известная своей болтливостью и несерьезностью, ему этот факт сообщила. У него было чувство, что ему доверили некую тайну, которую он вовсе знать не желал. Такая посвященность для него была как кость в горле.

Припарковывая машину у дома, он все еще не в силах был произнести ни слова — лишь старался делать сочувственное лицо. Жужа, которая теперь, в свете фар проезжавших мимо машин, казалась ему старше, чем обычно, посмотрела на него с непривычно грустной улыбкой и принялась вдруг оправдываться. Да, я сама знаю, что слишком много говорю, тебе это, наверное, надоело, сказала она со вздохом, а когда он попытался было обнять ее, чтобы утешить хоть так, если словами не в силах, Жужа и жест его поняла неправильно. Она оттолкнула его и щелкнула по носу. Знаю, знаю, мы сюда не душу изливать приехали, но все же давай поднимемся в квар-

тиру, в машине как-то не очень, место слишком людное, да и мне уже хочется немного комфорта, объясняла она, пусть и не с прежним вызовом, но все же стараясь сохранить кокетливый тон.

В квартире, потратив несколько минут на то, чтобы потоптаться, предложить что-нибудь выпить, поискать подходящую пластинку, осмотреться, они устроились в гостиной на канапе. Еще мать повесила над этим широким, как тахта, предметом мебели, обитым бордовым бархатом, темно-коричневую полку из мореного дерева, и с полки, прихотливо извиваясь, свисали сочно-зеленые плети растений: папоротника, гибискуса, филодендрона, придавая этому уголку тропический характер. Благодаря приходящей уборщице, которая раз в неделю наводила в квартире порядок, растения ухитрялись как-то выживать, несмотря на полное равнодушие хозяина. А он, оказавшись тут, в единственно теплом и уютном в огромной квартире месте, от растерянности стал говорить о цветах, о том, как они согревают комнату, делают ее жилой. Он сам удивился, почему это пришло ему в голову, и, пока говорил, как-то особенно ясно почувствовал, до чего все это абсурдно… Но гостью тема почему-то заинтересовала: она с явным вниманием слушала его,

улыбалась, кивала.

Хотя Жужа была у него не впервые, ему нелегко оказалось настроиться на последующее. В других случаях, с другими партнершами трудность заключалась как раз в том, чтобы добраться до постели. Сейчас он старался что-нибудь придумать, чтобы оттянуть то, что должно было произойти; но он уже не хотел, чтобы это произошло торопливо и тривиально, оставив после себя терпкий, как в остывшей кофеварке, когда весь кофе выпит, осадок. С другой стороны, он переживал сейчас то же, что в последний период супружества, когда отношения с женой охладели, да и в последующие годы, когда он проводил вечер с бывшей ли женой или с новыми женщинами. Он знал, для чего приглашает их к себе или сам приходит к ним с цветами, бутылкой вина, красиво упакованным тортом, равно как и те знали прекрасно, зачем принимают его приглашение или принимают его у себя; и все же, и все же он ощущал почти непреодолимую пропасть между собой и очередной женщиной, все с большим трудом заставляя себя приступать к преодолению этой дистанции. Ему одновременно хотелось и торопить события, чтобы все было уже позади, и как можно дольше тянуть время. В других случа-

ях хотя бы похоть подстегивала его; теперь же… тщетно прислушивался он к себе: плоть дремала. Поэтому он все говорил и говорил о цветах, пока наконец Жужа, почувствовав, видимо, его муки, не подвинулась ближе, взяв его за руку. Он замолчал.

Года два назад… ты говорил о своих цветах то же самое, широко улыбнулась она. Но она не иронизировала над ним — хотя могла бы; в ее тоне слышалась скорее тихая, снисходительная печаль. Он удивленно посмотрел на нее, пытаясь вспомнить, какой случай она имеет в виду; потом оба рассмеялись. Вообще-то они в самом деле… жизнелюбивые, сказала она со странной интонацией. Потом потянулась к своей сумке и нашла в ней какую-то коробочку. Травка, сказала она, у сына стащила. Хочешь?

Он смотрел, словно загипнотизированный, как она достает из коробочки толстую короткую сигарету, закуривает и, сделав затяжку, протягивает ему. Он не стал отказываться, хотя никогда ничего подобного не пробовал. После того что Жужа рассказала про бывшего мужа и сына, такой поворот его слегка удивил. В нем заговорило любопытство, впрочем, день этот был каким-то таким, что все становилось возможным. Курить

он никогда не курил, а потому и не смог вдохнуть дым, как полагалось, и отчаянно закашлялся. Жужа, посмотрев на него, погасила наполовину выкуренную сигарету. Он не чувствовал ничего, кроме горького вкуса, да и в гостье не замечал никаких изменений.

Передавая ему сигарету, она коснулась пальцами его губ, колено ее прижалось к его колену. Когда он и на это не отреагировал, она положила ладонь на его ногу, кокетливо закусила нижнюю губу и с нажимом провела пальцами по внутренней стороне его бедра. Тут и ему пора было что-то сделать; он обнял и поцеловал ее. Ладони Жужи ползли все выше; он погрузил руку в ее волосы на затылке; другая рука легла ей на грудь. Они попытались раздеть друг друга. Жужа и тут вела себя активно. На лице у нее появилась вызывающая улыбка; рука ее с игривострастной торопливостью расстегнула молнию на ширинке и скользнула внутрь. Он вспомнил прежние встречи, протекавшие точь-в-точь по такому же сценарию: тогда Жужа точно так же обхватывала пальцами и поглаживала его восставший член, а потом, наклонившись, брала его в рот… Теперь, однако, ее действия не пробудили в нем вожделения, которое, как удар электричества, напрягло

бы каждую клеточку тела; более того, плоть его катастрофически ослабела, и он, чувствуя это, тщетно напрягал мышцы живота и ног. Жужа пока не сдавалась: ладонью и языком она делала все, чтобы вызвать в нем вожделение, и, следя за результатами, вызывающе косилась на его лицо.

Пытаясь потянуть время, он снял с нее кардиган, блузку, сдвинул с плеч бретельки бюстгальтера, обнажив зрелые полные груди. Раньше эти пышные, немного расплывшиеся холмы моментально возбуждали его; сейчас не помогло даже то, что женщина, опустившись перед ним на колени, зажала его полунапряженный, еще влажный от ее слюны пенис между грудями и стала ритмично двигать ими вверх-вниз.

Он закрыл глаза, словно переживая экстаз, и даже подстроился под ее ритм, но ему не удалось обмануть ни устремленных на него глаз, ни самого себя. И после этого напрасно он, положив ее на канапе, гладил, мял, целовал ее разгоряченное, упругое тело — желание так и не пробудилось. А когда он, подняв юбку, стянул с нее колготки и трусы, потом, торопливо поласкав ее промежность, сжал ладонями широкие, но все еще плотные ягодицы, которые она успешно поддерживала в кондиции с помощью гимнастики и

массажа, чтобы притянуть ее к себе, проникнуть в нее, — он уже знал, что потерпел непоправимое и очевидное фиаско и что Жуже это так же ясно, как и ему. Сделав еще несколько движений, имитирующих соитие, он опустился рядом.

Через полминуты, взяв себя в руки, он повернулся к Жуже, чтобы попросить прощения за свою беспомощность, — и обнаружил, что она молча плачет. Никогда еще он не видел ее в слезах, и даже представить не мог, чтобы эта жизнерадостная, язвительная, склонная к самоиронии женщина была способна так пасть духом. Подчиняясь инстинктивной потребности утешить плачущего человека, он погладил ее по щеке, от чего она заплакала в голос. Конечно, это я виновата, не то что-то сделала, говорила она сквозь рыдания, размазывая тушь на веках. Ну что ты, полно, дело во мне, нервно утешал он ее, обнимая все еще горячее, но уже расслабленное тело. Значит, ты меня находишь старой, отвратительной… груди и зад у меня уже не такие, как когда-то… Она хлопнула себя по бедру, но не отбросила от себя его руки. Как когда? — вырвалось у него: он не сразу понял, что эта женщина, которая, дрожа, угнездилась в его объятиях, протестует против бренности бытия; после его

бестактного вопроса она зарыдала снова. Вообще-то два года назад, когда они впервые оказались в постели, она выглядела точно так же, красивой, аппетитной в своей зрелости, и тогда все шло как по маслу… За тридцать лет, со времен первых, неловких опытов с девушками, у него никогда не было осечек с потенцией. Неужели это начало старости? — мелькнула у него мысль; но, странное дело, он чувствовал скорее любопытство, чем потрясение. Она перестала всхлипывать, обхватила коленями его бедра и, прижав к нему лоно, слегка подвигалась, надеясь поправить дело. На какой-то миг похоть воскресла в нем, но рисковать не хотелось. Осторожно, но решительно он оттолкнул ее.

Отвернись, я оденусь! — неожиданно строго сказала Жужа, все еще с заплаканными глазами, и, прикрыв левой рукой грудь, потянулась за одеждой. Он с готовностью отвернулся; но ситуация была настолько абсурдной, что он не мог спрятать усмешку. Жужа, видимо, заметила ее — и, надевая шляпу, раздраженно произнесла: смешного тут, между прочим, не так уж много. Он опять извинился, уже в который раз за последние несколько минут, и предложил отвезти ее домой. В этом нет никакой необходимости,

прозвучал сердитый ответ; на сей раз обойдемся без политесу, добавила она, направляясь к двери. Оба догадывались, что это — последняя попытка быть вместе.

8

Выпроводив обиженную гостью и закрыв за ней дверь, он постоял в некоторой растерянности. Прощаясь, они даже не посмотрели друг на друга. Слов, которые смягчили бы ситуацию, утешили, найти все равно было невозможно. Несколько минут он нервно ходил по квартире, поставил какую-то старую, по меньшей мере двадцатилетнюю, пластинку Боба Марли, но скоро выключил ее и стал искать в телевизоре какой-нибудь фильм. Сидел, тупо глядя на экран, и ел мороженое, найденное в морозильной камере. Холодильник стоял почти пустой: дома он ел редко, но несколько коробок с мороженым всегда держал про запас.

Было уже одиннадцать, когда он достаточно успокоился, чтобы сесть за компьютер. Он собирался написать Андрашу, ответить на письмо, полученное сегодня утром. Долго сидел перед монитором, но ни одной разумной фразы, которая могла бы развеять недоумение сына, в голову не приходило.

Он чувствовал, что никогда еще у них с сыном не возникало потребности в таких доверитель-

ных отношениях, как на сей раз; за годы своего отсутствия Андраш если и писал более или менее подробные письма, то матери и по обычной почте. Тамаш понимал, что сейчас сын затронул нечто такое, относительно чего у него были догадки (а может, имея в виду участие дяди, и не только догадки); нечто такое, что он может обсуждать это только с ним, отцом, а он, отец, просто обязан на это ответить. И все же он понятия не имел, как ему выполнить эту обязанность.

Подперев ладонью лицо, он смотрел на пустой экран монитора, где стояли лишь два слова, напечатанные им полчаса назад: *Здравствуй, сынок!* Это было все. Он с удовольствием бы и отослал это как ответ, но не хотелось выставлять себя на посмешище. Он прекрасно понимал, что Андраш не успокоится, пока не получит ответ на свои вопросы; он всегда, с детских лет требовал объяснять ему все до подробностей; если ему было что-то неясно или казалось, что от него что-то утаивают, он привык докапываться до истины: сердито сдвинув брови, выспрашивал, приводил доводы, спорил, не уставая доказывать, что имеет право на знание. Но, даже хорошо помня это, он, отец, чувствовал себя беспомощным. В конце концов он решил дать еще один шанс молчанию,

а если Андраш не успокоится, тогда придется что-то придумать. И он выключил компьютер.

Третий раз за сегодняшний день принял душ, все еще ощущая на теле запах своего одеколона, а также крепкий, неизвестный ему аромат духов Жужи. Он намылился, долго стоял под струей воды, потом, вытершись и надев пижаму, вынул из портфеля номер «Непсабадшаг», который носил с собой с самого утра, лег на кровать в спальне, стены которой были увешаны потертыми коврами ручной работы. В спальне еще стояли большое трюмо, комод, в котором лежало постельное белье, две тумбочки (мать называла их «нахткасли», и его всегда это раздражало) и, тоже оставшаяся от родителей, разросшаяся диффенбахия в огромном, более полуметра диаметром, горшке; однако, когда он говорил что-нибудь, голос звучал в огромной квартире гулко, как в пустом танцевальном зале.

В газете ему бросился в глаза большой, на три колонки, репортаж о студенте, приехавшем в Израиль из Венгрии и ставшем жертвой арабского теракта, совершенного три недели назад в Иерусалиме. Парень, как сообщала газета, учился в ешиве, в Старом городе. Газета печатала и гневное заявление живущего в Пеште

дяди бедняги-студента: тот считал, что это семья виновата, не надо было отпускать парня и его брата в Израиль, и пусть родители, которые едут туда на похороны, хоть уцелевшего сына немедленно заберут домой… Тамаша никогда прежде особенно не интересовали ближневосточные события, во всяком случае, не больше, чем другие зарубежные новости; борьбу между Израилем и палестинцами он воспринимал как что-то вроде петушиных боев. Тем не менее репортаж этот он прочитал от первого до последнего слова, а с дядей, который требовал возвращения на родину уцелевшего родственника, согласился в душе. Хотя он сочувствовал погибшему юноше, а тем более его родителям, однако считал, что безответственная молодежь, поселяющаяся в арабских кварталах, сама провоцирует арабов на сопротивление. Фанатизм молодых евреев он осуждал так же, как и фанатизм противоположной стороны. Счастье еще, что Америка — не Израиль, вздохнул он и уронил газету на пол.

Погасив лампу, он долго лежал без сна, ворочаясь на постели. В конце концов, не выдержав, достал из тумбочки коробочку со снотворным, вышел, не зажигая свет, в ванную комнату, налил из крана воды в стакан и запил таблетку.

Лекарства он терпеть не мог в принципе, но перед бессонницей был бессилен. К тому же вспомнил, что обещал утром играть в теннис с голландскими гостями. Надо было выспаться. Спустя какое-то время голова стала туманиться, по телу разлился покой; его уже не тревожили ни Анико с ее неожиданным отъездом, ни неприятный инцидент с Жужей. Мысли кружились вокруг прочитанной перед сном статьи, и он пришел к выводу, что правильно поступил, не ответив на письмо Андраша сразу. Пройдет несколько дней, утихнет в душе сумятица, поднятая вопросами сына, он все основательно продумает и тогда напишет… Ему стало легко; он заснул.

9

Он так и не смог собраться с духом, чтобы написать Андрашу. А тот больше не поднимал эту тему: короткие редкие письма его, как и прежде, посылались скорее по обязанности… Весной от него пришли два письма по почте, написанные от руки: в них он сухо и лаконично рассказывал об университетских буднях.

Как-то в конце апреля позвонила Анико, чтобы поделиться тревогами насчет сына.

После Рождества и Нового года их встречи и телефонные разговоры стали реже. У Анико завязались серьезные отношения с каким-то режиссером, вроде бы довольно известным, хотя Тамаш его не знал; и главное, режиссер был на пять лет моложе, чем он. Он опасался, что, если однажды Анико найдет серьезного постоянного мужчину, его, бывшего мужа, будет мучить ревность; но, видимо, слишком много времени прошло между первыми догадками и подтвержденной уверенностью, так что особого потрясения он не испытал. К тому же он почти не сомневался, что новый ухажер рано или поздно бросит Анико: та, конечно, всем хороша, вот

только возраст! Всякий раз, когда бывшая жена жаловалась ему на какие-то проблемы, Тамаш втайне испытывал даже некоторое злорадство: ведь это значит, ее личная жизнь без него не так уж безоблачна, как она пытается изобразить.

Однако, узнав, что начиная с января Андраш и ей не написал ни одного обстоятельного письма, а на тревожные ее расспросы отвечает формально или никак не отвечает, он тоже заволновался. И еще, жаловалась Анико, тон у него стал почему-то холодным, едва ли не официальным. Раньше она получала от сына по два-три письма в неделю.

Она была просто в отчаянии — и охотно делилась этим отчаянием с ним. Она взяла с него слово, что он тоже попробует как-нибудь прояснить ситуацию. Однако на свои настойчивые, хотя и повторяющиеся почти дословно, электронные письма он ответа не получал. По телефону он сына не мог поймать; правда, как-то Андраш сам перезвонил ему: разговаривал он приветливо, но о себе ухитрился не сказать почти ничего.

Оба были совершенно потрясены, когда сын где-то в конце мая сообщил, что домой на летние каникулы не приедет. Может, тут замешана женщина, пытались успокоить они себя и друг друга; ведь Андраш такой стеснительный — не

скажет, если что.

У них возникла идея: ведь хотя бы один из них может навестить его в Америке. Сын ответил: после сессии они с несколькими сокурсниками собираются взять напрокат машину и на месяц-полтора поехать на западное побережье, может, и в Мексику заглянут, так что родителям в это время приезжать вряд ли имеет смысл. Им пришлось смириться; несколько утешало лишь то, что сын как-никак посмотрит Америку. Да, он не особенно рвется с ними встретиться, но хорошо, что у него есть друзья, с которыми он прекрасно себя чувствует.

В конце лета, после того как несколько их попыток дозвониться ему оказались безуспешными, произошло еще нечто странное. Анико, к которой тогда уже переехал ее режиссер, однажды, совершенно случайно, заметила, что на письмах, присланных сыном, стоит не бостонский, а нью-йоркский почтовый штемпель. Она испугалась не на шутку: схватила письма, полученные за лето, примчалась к бывшему мужу (она не была у него почти год) и дрожащими пальцами трясла перед ним конверты, на которых ясно читалось: New York, хотя Андраш ни словом не поминал, что у него в Нью-Йорке были какие-то дела. Они

тут же сообща написали драматическое по тону письмо, в котором требовали объяснить, что происходит: они места себе не находят от беспокойства, и по телефону не могут ему дозвониться, и вообще не знают, прочтет ли он эти строки и получил ли он их письма, которые они посылали ему на бостонский адрес за минувшие месяцы.

Ответное письмо было совсем странным: Андраш сообщал (на сей раз обращаясь почему-то только к отцу), что из Бостона он уехал и учится теперь в Нью-Йорке (в каком именно университете, об этом не было ни слова). Я иду по правильному пути, писал он, беспокоиться не надо, обо всем существенном, что бы с ним ни случилось, он будет их извещать, письма можно пока адресовать в Бостон, почту ему пересылают.

Когда Тамаш, совершенно растерянный, показал Анико это непонятное послание (они встретились в кафе «Астория»), она расплакалась. В ее слезах, кроме испуга за сына, была, конечно, и доля ревности, и запоздалое чувство вины: что она такого сделала, чтобы сын, в этот, судя по всему, критический момент своей жизни, отвернулся от нее и написал только отцу? Она даже подумала, не известие ли о ее новой связи отвратило от нее сына, — хотя она писала ему об этом осторожно,

не упомянув даже о том, что теперь живет вместе с новым, как она выразилась, другом. Как бы то ни было, оба чувствовали, что теперь у них есть причины впасть в панику, и в первый момент перебрали все самые ужасные варианты такого непонятного поведения. Они видели перед собой Андраша, исхудавшего до неузнаваемости, с исколотыми венами, вымаливающего порцию зелья у наркоторговца где-нибудь в Гарлеме; видели его в изуверской секте, которая, удалившись от всего мира, где-нибудь на заброшенной ферме готовится к коллективному самоубийству. Предположениями своими они довели друг друга чуть не до истерики. Нынче столько пишут о всяких таких вещах! Они чувствовали, что терпеть больше нельзя. Они твердо знали: хотя письмо Андраша кажется спокойным, даже бесстрастным — мальчик явно попал в беду, надо что-то делать.

Анико вспомнила про нью-йоркского дядю. И Тамаш с ней согласился. В середине сентября он позвонил в Нью-Йорк, но дядя как раз был в больнице. Поговорить он смог только с его женой, которая была глуховата, поэтому ему пришлось долго кричать в трубку, объясняя, кто он такой и чего хочет. Дядя Йошуа сразу после войны взял

в жены вдову своего старшего брата, который служил в трудовых батальонах на Восточном фронте и там пропал без вести. Поступил дядя в соответствии с еврейской традицией, чтобы произвести на свет ребенка, заменив умершего брата; правда, брак так и остался бездетным.

Тамаш не помнил эту женщину, которая тоже покинула Венгрию в 1956 году. А обычай брать в жены вдову брата считал варварским. Но дядина жена, поняв наконец, кто он такой, сразу обратилась к нему на «ты» и его просила о том же, но он не мог заставить себя сделать это. Он вспомнил, что зовут ее Эстер Нусбаум, однако никаких родственных чувств, никакой теплоты к ней в себе не обнаружил.

Он пытался расспрашивать ее об Андраше, хотя ему неловко было признаться, что он абсолютно ничего не знает о родном сыне. Из сбивчивых слов дядиной жены он понял, что Андраш несколько раз был у них, он здоров, чувствует себя нормально, учеба вроде тоже идет неплохо. Когда он спросил, не знает ли она его адрес и телефон, она сослалась на склероз и сказала только, что живет он где-то в Вильямсберге, там же вроде и учится.

Он немного успокоился: сведения как будто заслуживали доверия, — и постарался закруглить

затянувшийся разговор. Заодно порадовался и тому, что уж если он не способен поддерживать родственные связи, то хотя бы сын в какой-то мере восполняет его упущение. Он попросил передать Андрашу, чтобы тот писал «немного почаще», и с облегчением положил трубку.

Он даже забыл передать привет и пожелания здоровья дяде. И лишь укоризненные вопросы Анико заставили его сообразить: он ведь не спросил, что, собственно, сын изучает в Нью-Йорке. Десять минут назад, узнай мы, что Андраш не наркоман, — мы бы от радости прыгали, сердито воскликнул он; в то же время он, конечно, досадовал на себя, что выяснил так мало. Анико все-таки права: в этом неожиданном переезде и смене университета было что-то странное, и причины остались совершенно непонятными. Звонить еще раз и донимать старуху расспросами было неловко; он изо всех сил пытался вспомнить ее, но, сколько ни перебирал в памяти родственников, к которым в детстве ходил с родителями в гости, ни одной детали, за которую можно было бы уцепиться, рассеяв сумрак прошлого, так и не всплыло.

Утром он проснулся с недоуменным вопросом: можно ли ждать от почти восьмидесятилетней

женщины, у которой никогда не было своего ребенка, чтобы она разбиралась, успешно ли идет учеба у двадцатилетнего студента-биолога? А что, если Андраш и их водит за нос?.. Может, он у них денег просил? И ласков с ними потому, что нуждается в их помощи?.. Его опять охватило беспокойство, и он был рад лишь тому, что все эти вопросы не Анико задала ему с укоризненным видом после его разговора с Нью-Йорком.

10

В это осеннее утро он отправился на службу необычно рано. Вежливо выпроводил из кабинета уборщиц, нацедил себе из автомата, стоявшего в секретариате, двойную порцию кофе и уселся в свое кресло на колесиках с твердым намерением написать сыну строгое письмо и настоятельно призвать его раскрыть карты.

Здравствуй, Андришка!

Обращаюсь к тебе, как мужчина к мужчине. Как отец — к взрослому сыну, который сам несет ответственность за свою судьбу: за себя самого, за свои поступки и за свое отношение к другим людям.

Тревожась за тебя, мы пытались узнать, как ты живешь. Мы чувствуем, этим летом в жизни твоей произошли такие изменения, в ходе которых и в результате которых ты, наверное, почувствуешь нужду в родителях. Вполне вероятно, изменения эти как раз и говорят о том, что ты встал на ноги и в устройстве своей судьбы уже не ощущаешь необходимости в чьей-либо помощи, в том числе родительской. В этом случае

нам остается лишь принять к сведению твое решение относительно учебы ли, личной жизни ли, каким бы оно, это решение, ни было. Твою волю связывать мы не можем, да это и не в наших намерениях. Любой родитель должен понимать, что его ребенок рано или поздно отдалится от него; мы ни в коем случае не будем на тебя в претензии, если ты решишь продолжать свою жизнь не в том русле, которое ты сам для себя избрал, и если будешь жить вдали от нас. Хорошие родители всегда чувствуют, когда им следует быть рядом с ребенком, а когда лучше отойти в сторону. Надеюсь, ты и сам видишь, что до сих пор мы более или менее соблюдали этот принцип. Мы старались, насколько позволяли обстоятельства, за прошедшие двадцать лет дать тебе все, что можно было дать: родительскую любовь, заботу, материальные блага. Мы гордились твоими успехами, твоей учебой, мы готовы и дальше поддерживать тебя в твоих планах, и у нас нет намерений ни в чем ограничивать твою свободу и самостоятельность.

Однако ты должен понять: хотя мы и не собираемся вмешиваться в твою жизнь, тем не менее нам хотелось бы знать, где ты, как ты, чем занимаешься, все ли у тебя есть, не нуждаешься ли ты

в такой помощи, какую человек может скорее получить от родителей, чем от кого-то другого.

Достигнув определенного возраста, просить денег трудно не только у чужих людей. Так что, если тебе нужны, для решения каких-то проблем или для осуществления новых планов, дополнительные средства, я сам тебе предлагаю: не считай для себя зазорным сказать об этом. Напиши, сколько послать, и через два дня деньги будут у тебя.

Мы знаем, ты человек разумный и способен, где бы ты ни был, постоять за себя, так что мы во всех отношениях тебе доверяем, а взамен ожидаем немного доверия и с твоей стороны. Особенно в этот поворотный момент твоей жизни: ведь мы согласны с тобой в том смысле, что с изменением твоих обстоятельств — думаю, ты это чувствуешь еще более ясно, — в минувшие месяцы (а может быть, годы?) изменились и отношения между нами. Те несколько недель, которые ты в прошлом и позапрошлом годах, приезжая на каникулы, провел с мамой и со мной, не очень-то давали возможность для серьезных бесед. Несмотря на это, тебе, вероятно, казалось, что мы слишком на тебя давим (не могу не согласиться, подчас ты справедливо мог за это на нас оби-

жаться); однако нам время, проведенное с тобой, всегда представлялось слишком уж кратким. (Можешь поверить, «нам» — слово здесь вовсе не неуместное: в последнее время мы с твоей мамой много говорим об этом.)

Мы никогда не обсуждали с тобой эту тему, но наш развод ты наверняка перенес нелегко. Недаром же ты уехал вскоре после него, хотя выбрал учебу за рубежом, видимо, не только по этой причине. Я знаю, ребенок никогда не простит родителям, если его вынуждают делать выбор в подобных обстоятельствах, потому что в таком положении любое решение будет только плохим. В то же время — и ты, будучи уже взрослым, должен это понять как мужчина — в жизни сплошь да рядом складываются ситуации, когда приходится выбирать не между хорошим и лучшим, но лишь между плохим и еще более плохим; несмотря на это, и тут можно — нужно! — оставаться порядочным человеком. Слишком сложно все это объяснить; скажу лишь: в нашем случае развод был меньшим злом, даже если он и причинил нам всем боль. Ты, наверное, никогда не поймешь до конца, что же такое произошло с твоими родителями. Пускай тебя успокаивает сознание: люди вообще понимают

далеко не все, что с ними происходит. Поверь, мы с мамой и сами не можем объяснить, когда и почему отношения между нами непоправимо испортились.

Но, как бы то ни было, что бы ни случилось, мы с мамой, оба, любили и любим тебя, и оба, пускай уже не вместе, стремились и стремимся, по мере сил и возможностей, к тому, чтобы ты был спокойным и счастливым (ну и, конечно, порядочным) человеком. Может, этого и не нужно было бы, но мне приятно все-таки написать: я тебя знаю как немного своевольного, но прямодушного челове(ч)ка. А это очень даже немало в мире, где все воруют, обманывают, порой даже самих себя. (А я ведь еще не упоминал ненависть, фанатизм и все прочее, из-за чего иной раз и телевизор включать не хочется.) Часто у человека нет вообще ничего, кроме порядочности. Мы всегда старались обращаться с тобой так, словно ты был старше своего возраста, смотреть на тебя как на (уверенную личность, и сейчас смотрим так же. Ты говоришь по-английски и по-немецки, несколько лет уже живешь самостоятельной жизнью — и в одиночку справляешься с трудностями этой жизни; ты нигде не пропадешь, я уверен. Ты можешь стать гражданином мира,

чего нам не было дано; мы благодарны судьбе, что тебе выпал этот удел, и очень хотим, чтобы ты мог воспользоваться такой возможностью.

Мы всего лишь хотели бы знать: где ты и что делаешь? Кажется, это не слишком большая просьба на расстоянии более семи тысяч километров.

Не знаю, чем заслужили мы недоверие, с которым ты относишься к нам. Мама (которая очень обижена еще и тем, что ты ей не пишешь), во всяком случае, переживает ужасно, а я, при отсутствии всякой информации, ничем не могу ее утешить. Я пытаюсь держаться спокойно и рассудительно, хотя меня тоже тревожит твоя судьба, как тревожит и вопрос: чем мы заслужили, что ты бесследно исчез, растворился в этой Америке. От кого или от чего ты прячешься, сынок? Ты уверен, что не было бы разумнее открыто взглянуть в глаза ситуации, осознать положение вещей, обсудить проблемы, попробовать разобраться с самим собой, разобраться со всем тем, что произошло с тобой за минувшие месяцы? Неужели мы совершили по отношению к тебе нечто такое, что побудило тебя замкнуться и теперь играть с нами в прятки? Что бы это могло быть? Не обижайся, но такое твое

поведение — поведение не взрослого мужчины, а скорее капризного ребенка. Дай нам какое-то объяснение, и тогда, может быть, вопросы, которые остались не проясненными для тебя самого, и тебе станут яснее. И если ты чувствуешь, что не в силах справиться — там, где ты сейчас находишься, — со своими проблемами, то приезжай или, если тебе так удобнее, позвони, чтобы мы приехали и помогли. Нет таких трудностей, которые нельзя было бы одолеть сообща.

Понять, что мы переживаем, что чувствуем, думая о тебе, и вообще, и особенно в эти дни, ты сможешь, лишь когда сам станешь отцом. И лишь тогда убедишься в том, что только родительская любовь способна вынести, пережить определенные потрясения. Словом, сообщи, что с тобой!

Выше я уже написал: мы с мамой всегда считали, что ты рассудительный, счастливый и порядочный человек. Первые два качества, откровенно говоря, во многом зависят от характера и от удачи; что касается третьего, то тут любое определение (в том числе и мое) теряется в необъятности. Так что будь человеком, сынок, вот чего я желаю. Будь человеком со всеми, о ком бы ни шла речь, а значит, и с нами, со мной

и с мамой.

Прости, если письмо получилось немного длинным и сумбурным. Где-то, может быть, слишком общим, где-то сентиментальным, что, догадываюсь, придется тебе не по вкусу. Признаюсь, в твоем возрасте я и сам терпеть не мог родительских писем, напичканных сентенциями… Но ситуация́ такова, что я вынужден так писать. Да и давно мы не говорили о серьезных вещах, ты сам знаешь.

Надеюсь, это письмо ты получишь быстро. И еще горячо надеюсь, что оно подвигнет тебя написать ответ. Или хотя бы сообщить, где ты и как живешь. Отзовись, сынок!

Обнимаю.

Любящий отец

Стуча по клавиатуре компьютера, он чувствовал сильное сердцебиение, а когда подошел к концу, у него даже руки тряслись. Не надо было пить столько кофе, думал он, ослабляя узел галстука и открывая окно. Он прилег на диван, стоящий в кабинете, но сердце продолжало бешено колотиться, да и воздуха не хватало. Полежав, он достал из портфеля коробочку ксанакса, который не принимал около месяца, проглотил таблетку и снова лег. Надежности ради письмо

надо бы, наверное, послать еще и электронной почтой, не только авиа, размышлял он, но потом пришел к выводу: Андраш не случайно же оставил им прежний, бостонский адрес. Через неделю, самое большее, письмо будет в Бостоне, потом еще день-два, и Андраш его получит.

Когда сердцебиение немного утихло, он сам спустился на первый этаж, в экспедицию, и отдал письмо курьеру: это срочно, пусть бежит на почту и отправит немедленно. Люди вокруг смотрели, разинув рты. Не случалось еще, чтобы кто-нибудь из дирекции лично переступал порог экспедиции.

11

На ответном письме значился нью-йоркский адрес: округ Вильямсбург, улица, номер дома. Коротенькое письмо от сына пришло опять же отцу, в начале октября: со мной все в порядке, пиши мне по этому адресу, скоро, может, еще в этом месяце, напишу подробно, как идет учеба, и отвечу на твое последнее письмо. Всего шесть строчек; а главное, он сообщил свой адрес, но никаких извинений и объяснений, почему не сделал этого раньше. Ни слова о том, где учится и чему; и ни слова о матери. Хотя прежде Андраш часто писал письма, обращаясь сразу к обоим, пускай приходили они то на адрес отца, то на адрес матери.

Наверное, думал он, это реакция на мое письмо. Наверное, Андраш лишь сейчас с позиции взрослого человека осмыслил и понял, что случилось. Лишь сейчас до его сознания дошло: отец и мать нынче (особенно после того, как у матери появился новый спутник жизни) общаются друг с другом исключительно из-за него, из-за сына. Может, Андраш написал ей отдельно? И Тамаш — после того как достал из почтового ящика письмо,

торопливо вскрыл его и в полутьме лифта пробежал глазами строчки, — войдя в квартиру, тут же потянулся к телефону и набрал номер Анико.

Нет, она ничего не получала; а он, хотя сам не очень понимая почему, умолчал о длинном письме, которое послал сыну; не сказал и о том, что Андраш в своем письме даже не вспомнил про мать. Более того, на ее истерические расспросы он ответил, что сына удалось разыскать через нью-йоркское представительство их фирмы; Андраш передает: дела у него идут нормально, учится, он скоро напишет и подробно расскажет о своих обстоятельствах. Слава Богу, Тамаш никогда не посвящал Анико в дела фирмы, так что она не могла знать, что партнеров за океаном у них нет, сделки они заключают исключительно в Европе да на Ближнем Востоке. Тебе адрес нужен или не нужен? — холодным тоном оборвал он поток ее вопросов и требований показать ей письмо. И сухо продиктовал название улицы и номер дома.

Потом, сбросив ботинки и облегченно вздохнув, удобно развалился в кресле у телефонного столика, чтобы отдохнуть немного и собраться с мыслями. Он был доволен собой: в этом разговоре, да и вообще в минувшие недели он сумел сохранить хладнокровие, в то время как Анико,

которая прежде в критических ситуациях обычно вела себя твердо и осмотрительно, считая его немного тряпкой, явно потеряла голову.

Сам он теперь, когда сын снова оказался в пределах досягаемости, слегка успокоился. То, что он сумел узнать новый адрес Андраша и заставил его ответить, наполняло его гордостью; правда, немного тревожила мысль, что он понятия не имеет о причине, по которой сын проявляет такое равнодушие к матери. Это было несколько странно; он старался подавить в себе горделивую, но не слишком уверенную мысль, что Андраш теперь, в кои-то веки, стал к нему ближе.

Он считал, что действовал, с учетом обстоятельств, вполне корректно. До сих пор они могли писать ему оба, он и на сей раз обеспечил равенство шансов. Теперь от Анико зависит, сумеет ли она найти с сыном общий язык. Его мучило любопытство; но, раз уж разговор закончился на неприязненной ноте, он не мог снова позвонить Анико и попытаться узнать, что там у них такое произошло. И нет ли у нее каких-то догадок, почему Андраш так долго молчал?

12

Обещанный подробный ответ прибыл в начале ноября; на штемпеле стояла дата отправки: октябрь, 26. Письмо было длинным; на первом листе, в правом верхнем углу, была какая-то надпись на иврите: похожие надписи он видел на письмах, которые приходили от их израильских партнеров. Но тут-то это при чем, не мог понять он.

Но когда он углубился в чтение размашистых, слегка загибающихся кверху строк с широкими петлями прописных букв, ему скоро стало ясно, откуда здесь эти угловатые значки; хотя понять, что они значат, он не смог.

Здравствуй, папа!

Я обещал в скором времени подробно отчитаться о своей жизни, о том, как идет учеба. Выполняю свое обещание.

Однако прежде всего: гмар хасиме тойве — желаю, чтобы в Книге жизни ты был записан на хороший год! Этот год будет — 5759-й.

Еще перед осенними праздниками я прошел обряд обрезания, а затем перед бейс дином (су-

дом раввинов) ешивы Тора веира меня приняли в еврейскую веру, и с этого момента я, слава Благотворящему, считаюсь членом еврейской общины.

С начала месяца шват, то есть февраля, я учусь здесь под руководством моего рабби Йоэля Шика. С того же времени, то есть после того как произошел мой гиюр (обращение), я поселился в этих стенах. Рабби Шик гордится мной; он говорит, что и семья моя может мною гордиться: за столь короткое время и при отсутствии всяких предварительных знаний мало кто из его учеников достигал таких результатов, каких достиг я. Я уже могу подключиться к учебе, хотя и занимаюсь среди гораздо более молодых, чем я, и немножко могу даже продвигаться сам. Читаю Хумаш (Пятикнижие Моисеево), немного уже говорю на идише, понимать же понимаю значительно больше, чем могу сказать. Рабби Шик говорит: во всяком еврее, будь он самым отпетым, живет искра Божья, которая в должный момент может вспыхнуть и стать пламенем. Рабби — человек терпимый, он не считает каждого эпикойреса конченым человеком.

Ты, наверное, хочешь узнать, как я попал в ешиву.

В прошлом году, в декабре, — ты, может быть, помнишь — я писал тебе о своем разговоре с тем рабби из Брэндиса. После этого я попросил дядю Йошуа просветить меня в таких вещах, где у меня были только смутные догадки. Дядя Йошуа сказал, что это не телефонный разговор, и пригласил меня приехать к ним в Нью-Йорк на уик-энд. Я поехал. Он вкратце рассказал мне, что мы — евреи, к тому же происходим, правда не по прямой линии, от знаменитой династии Тейтельбаумов, и хотя уже родители дедушки были ассимилянтами, но ты — первый, кто женился на шиксе. Не очень-то было приятно слышать, как он говорил о маме.

В тот пятничный вечер он повел меня в ближайшую сатмарскую синагогу. Там он представил меня своему другу, и тот пригласил нас на праздничный ужин, ужин шабеса. Тогда я еще не смог бы выразить словами, но чувствовал, что со мной происходит что-то значительное… Хотя ни слова не понимал в произносимых молитвах и благословениях, да и обычаи были мне пока чужды. При всем том праздновали мы до рассвета. И за эту ночь мир повернулся ко мне другой стороной…

Или я перевернулся… меня поставили с головы

на ноги.

Наш хозяин, Йехезкель Унгар, издатель религиозной литературы, родился в Марамарошсигете, говорит по-венгерски, и хотя он не носит штраймл (не надевает по праздникам особый меховой головной убор), однако «школа», которую он прошел в детстве, и сегодня определяет его образ мыслей. За столом сидела вся семья. Было их человек двадцать, вместе с внуками, и меня, чужака, приняли с такой теплотой (и для них было так естественно объяснять мне, ам аарецу, невежде, даже самые простые вещи), что на миг у меня появилось чувство, будто я обрел семью. Обрел родню, которую раньше не знал или которую лично не помнил — так давно мы оторвались друг от друга. И они словно бы чувствовали то же самое, глядя на меня. Вкус и запах этого ужина я ощущаю до сих пор (более того, сегодня мне уже нравится и гефилте фиш, вкус которой тогда мне, мягко говоря, показался непривычным). Субботу они справляли истово; однако вечер был окрашен каким-то необыкновенным душевным покоем и радостью: теперь-то я уже знаю, что это и есть шехина, которая свидетельствует о присутствии ангела-хранителя мира седьмого дня.

Самые юные члены семьи уже не знают венгерского, говорят лишь на идише и английском. Но «Поет петух» в мою честь они с воодушевлением подхватили все.

На другой день с утра мы снова пошли в шул (синагогу), потом обедали у дяди Йошуа. Тут он мне наконец объяснил, почему до сих пор никогда не говорил со мной о еврействе. Хотя после трудовых батальонов и депортации (из-за чего жена его не могла рожать) они уже не живут по строгим религиозным канонам, как жили до войны, однако не забыли, откуда происходят. Сатмарский ребе же категорически запрещает обращать кого-либо в еврейскую веру. Если ты хочешь быть евреем, приходи, испытай себя, но звать они к себе никого не зовут. Откроют дверь лишь тому, кто стучится, и стучится настойчиво.

Хотя тетя Эстер готовит кошерную пищу, я больше у них не столуюсь. Их образ жизни свободнее, чем то, к чему я привык в ешиве, и строгий порядок мне кажется более надежным. Об Израиле мы говорим редко, потому что они, пускай негласно, поддерживают сионистов, и, мне кажется, это основная причина, по которой они все-таки отдалились от духа Сатмара. Для них эта безбожная страна, которую дала евреям че-

ловеческая власть, не есть отрицание святости Торы, а Эрец Исроэл, как говорит нынешний ребе, Мойше Тейтельбаум, не есть бунт против Господа, властвующего над миром и историей, не есть некомпетентное и греховное вмешательство в дело искупления. Иногда, правда, дядя Йошуа спорит со мной, но приводит такие доводы, которые неприемлемы и бессмысленны с точки зрения религии, а потому мне ничего не остается, кроме как избегать таких разговоров.

Но в январе мы об этих вещах с ним еще не беседовали. Я провел у них всю субботу и даже на воскресенье остался. Я слушал его с утра до вечера. Он рассказывал о своем детстве, о годах учебы в ешиве, о дедушке с бабушкой, да и об их родителях, а еще о дебреценской родне, которая вся ушла в неологию и с которой они не поддерживали тогда тесных отношений (потому что те разве что в Йом Кипур не ели сало). Рассказывал он и о том, что они не одобряли твою женитьбу: ведь уже тогда можно было предвидеть, как всегда в таких случаях, чем это кончится.

На Мелаве малке (на проводы субботы) мы пошли в шул, и мальчики вовлекли в хоровод и меня, пускай от меня тогда еще несло трефным, хоть мне и дали на время белую рубашку и пиджак.

В Бостоне после этого я чувствовал себя как человек, которого ненадолго пустили куда-то погреться, а потом снова выгнали на мороз. Голова у меня кружилась от необычных впечатлений, я не находил себе места ни в лаборатории, ни в общежитии. На следующей неделе была Ханука. Я отправился в кампус Брэндиса, куда меня приглашал еще тамошний рабби, но на праздновании, где парни в джинсах пели под гитару и куда пришли воспитанницы женской школы раввинов, мне было не по себе. Тогда я еще не знал, каким кощунством является то, в чем я участвовал; но дело в том, что тут я вовсе не почувствовал того «интеллектуального» подъема (если я напишу: «духовного», это будет, наверное, для тебя не совсем понятно, да я и сам тогда еще не воспринимал это так… или, во всяком случае, не мог бы точно определить), какой испытал на прошлой неделе в Бруклине. Думаю, бесполезно объяснять тебе, в чем разница между Сатмаром и так называемым реформистским еврейством. Скажу лишь, что они отличаются друг от друга примерно так же, как вино и вода. Реформисты — это другая религия. Они хуже, чем атеисты, потому что намеренно и сознательно фальсифицируют и лишают святости Тору и священное

имя Господа.

Первый январский уик-энд я снова провел в Нью-Йорке. Тогда дядя Йошуа и познакомил меня с рабби Шиком, который уже в первую нашу встречу произвел на меня глубокое впечатление. Он родился в Кишварде (которую называет — Кляйнфердай), но с середины тридцатых годов ходил в сатмарскую ешиву, то есть он — настоящий хасид. Они разговаривали на идише, которого я тогда, конечно, не понимал, потом недолгая беседа шла то на венгерском, то на английском. Должно быть, они говорили обо мне и раньше: рабби через некоторое время перестал меня расспрашивать и попросил на следующий день прийти, посмотреть, как они учатся. А если я захочу, то могу остаться на сием. (Так называются ужин и праздник, который устраивают, завершив изучение очередного талмудического трактата.)

Конечно, там тоже говорили на идише, я со своим немецким мало что понимал; правда, обнаружил, что если сосредоточиться, то могу уловить нить беседы. Иногда все-таки один парень, и сам баал-тшуве (вернувшийся), сын балтиморского врача, переводил мне на английский, о чем говорилось в изучаемом отрывке и о

чем идет спор. Ты, вероятно, захочешь получить объяснения, но я не смогу тебе объяснить (да на самом деле в этом нет и необходимости, ведь, в конце концов, это само собой разумеется), почему меня так увлекли царившая там атмосфера и спор, за ходом которого я пока не мог следить: ведь тогда я еще не осознал, что учиться — это мицва; просто меня захватила горячая страстность, с какой они пели текст и спорили о нем. Помню, спор шел о поставленном в трактате «Кидушин» вопросе, кто может стать шлиахом (посланцем другого). Тезис звучал так: если весь народ совершает пожертвование в Святилище, можно ли (на момент выполнения этой заповеди), при заклании пасхального жертвенного барашка, видеть шлиаха в том, кто его закалывает? Ведь он выполняет мицву и для себя, а значит, причастен к священному акту… С тех пор я и сам учил это, уже по книгам, и тогда наконец разобрался и понял.

В Нью-Йорке я застрял еще на некоторое время. И на следующий день, ближе к вечеру, пошел поговорить с Борухом, тем балтиморским парнем. Но тут меня увидел рабби Шик, позвал к себе в кабинет и строго сказал: ешива и вообще еврейство — не велосипед, покатался, потом при-

слонил к стенке. Я должен решить, чего я хочу: хочу быть евреем или нет, и если да, то надо начинать серьезно готовиться к этому. Принимая во внимание родство с Тейтельбаумами, а также то, что рассказывал обо мне дядя Йошуа, они знают, что я должен начинать не с нуля, сказал он, а потому я могу приходить в ешиву, даже взять на себя какие-нибудь обязанности: уборку или стирку, например, и если какой-нибудь бохер выскажет такое желание, он может помогать мне в подготовке. Но поскольку мать у меня не еврейка, я должен иметь в виду, что тоже считаюсь гоем. Если я отнесусь к делу серьезно и они увидят во мне готовность, то когда-нибудь я, возможно, стану членом общины; но в этом случае я должен строго выполнять все правила.

Я попросил дать мне подумать неделю. Позже я узнал (конечно, от дяди Йошуа): то, что я не ответил сразу, а решил подумать — хотя рав Шик уже видел по мне, каким будет мой ответ, да я и сам об этом догадывался, — произвело на него хорошее впечатление.

Дядя Йошуа тоже сказал, что я должен взвесить все хорошенько. Но не удержался и добавил: они, во всяком случае, уже отложили необходимую сумму, которая в случае моего положитель-

ного ответа заменит мне университетскую стипендию. Я стал было отказываться, но он сказал: в конечном счете они помогают не мне, а ешиве; они все равно бы давали ей деньги, как давали регулярно и до сих пор. Я видел, что говорит он серьезно, с другой стороны, этим он хочет подтвердить свою преданность религии и возместить деньгами недостаток внимания к ней, раз уж в будничной жизни не живет жизнью настоящего еврея.

В университете я попросил на полгода академический отпуск. И в конце января был уже в Нью-Йорке, с февраля работал уборщиком и помощником на кухне ешивы, а жилье снял в соседнем доме. Ужасно трудно было вставать на рассвете и ложиться поздно ночью, да еще учиться днем; но прошло какое-то время, и я привык. Дядя Йошуа, а потом и кое-кто из студентов немного помогали мне в учебе.

Рабби Шик еще дважды приглашал меня, спрашивал, всерьез ли я отношусь к возможности обращения. И предупреждал, чтобы я не торопился: лучше, говорит, уйди и снова обдумай, желаешь ли ты взвалить на себя «священное иго» Торы, потому что потом возврата не будет. В конце концов он счел мое решение искренним и

обоснованным. Сейчас, спустя девять месяцев, он сказал перед бес дином: сердце и разум у меня едины, это он с полной ответственностью может утверждать. То есть он кроме предписанных формул добавил что-то и от себя; от других я знаю, какое это большое дело, и чувствую большую гордость.

Я учился и учусь с рассвета до ночи. Конечно, я знаю: двадцать пропущенных лет практически невозможно восполнить; но когда же учиться, если не сейчас? И пускай главное мое достижение в том, что я вижу, как много я еще не знаю и не смогу узнать, не смогу наверстать упущенное, — я изо всех сил стараюсь не подвести моих учителей и наставников. Так говорится в Поучениях Отцов. Рабби Тарфон говорит: Лой алейхо амлохо лигмойр, вело ато бен-хорин лехибойсел. Не тебе завершить, и все-таки ты не должен уклоняться. Это значит: пускай я не сумею закончить то, что начал, — я все равно должен делать свое дело. Моя задача — делать свое, а не чужое, ибо когда-нибудь с меня за это спросится.

Как бы то ни было, старания мои ценят, так что я, уйдя из университета, скоро попаду в «штат» вшивы. И у меня не будет другой обязанности, кроме как лилмойд улеламейд — учиться

и потом учить. Конечно, если мне удастся — с Божьей помощью — достигнуть уровня, чтобы по крайней мере учить детишек в хедере. А там будет видно. Хотя до той поры должно пройти еще очень много времени, однако ни в чем еще я не чувствовал такой решимости, как в желании разделить с другими то знание Торы, которое я уже приобрел и еще приобрету.

С тех пор как я научился под руководством рабби Шика находить решение проблемы, поставленной в том или ином разделе Талмуда, или на один-два шага опережать ход горячего спора, так как чувствую, где может найтись решение, рабби все время хвалит меня и улыбается. Разум и сердце, одобрительно кивает он в таких случаях; хотя я знаю, что он тоже знает: все равно мне никогда не усвоить столько, сколько имеется в голове у выпускника-бохера, тем не менее я счастлив — он ведь ценит мое старание.

Наверное, это тоже тебя удивит: я скоро женюсь. Рабби и дядя Йошуа и тут предприняли определенные шаги; правда, мой случай не так прост: в настоящей фрумской семье не очень-то любят всяких балтшиве. Но, думаю, найдется семья, а в ней девушка, которая тоже из новообращенных, и там благосклонно отнесутся к

жениху с таким же прошлым.

Должен написать еще вот о чем... говорить об этом нелегко, но, надеюсь, расстояние и жанр — письмо — помогут найти необходимые слова.

Во мне нет обиды, хотя могла быть. Не потому, что ты оставил без ответа самые важные вопросы, о которых я писал в своем письме почти год назад. И конечно, не потому, что, как ты пишешь, человек никогда не простит родителям их развод. Думаю, то, что произошло между вами, естественно; странно то, что вы так долго оставались вместе. Ты в своем письме спросил, не пора ли мне взглянуть на себя со стороны, попробовать обдумать и оценить все то, что происходило и происходит во мне, в моей жизни. Знай: в прошедшие месяцы, когда у меня случались перерывы в учебе, когда я спал всего по пять-шесть часов в сутки, я только и делал, что обдумывал и оценивал — перед самим собой, а в Дни раскаяния перед Всевышним, — где я был, что я делал и чего не делал вплоть до нынешнего дня.

*Но, папа, разве не сказано: «Расскажи **сыну своему**»?*

Каждый сам делает свой выбор, сам решает, как ему жить. Теперь я знаю, что и ты не получил надлежащего воспитания. Но ты хотя бы знал

то, чего не знал я, и ты сам не дал мне возможности узнать, кто я такой.

Я не искал, но нашел нечто (вернее, случайно наткнулся), что мне было необходимо. Или, если быть совсем точным, меня нашло, став частью моей жизни, нечто, чего мне до сих пор не хватало. Нашло, прежде чем я смог назвать его по имени (по Имени), прежде чем сам смог сказать себе, что это такое. Сегодня я знаю, что Его нельзя называть по Имени: вот этого знания мне и не хватало.

Ты как-то говорил, что раньше тебе не хватало свободы. Свободы мышления, свободы мнения, свободы материального благосостояния, свободы идти или ехать туда, куда хочется. Для меня все это уже не было таким важным, как для вас. Потому что, когда я чувствовал в чем-то потребность, я это получал, я говорил и делал то, что хотел. Как я сейчас вспоминаю, я всегда чувствовал: это только рамка, пустая оболочка, а я должен наполнить ее смыслом, сделать обитаемой, что далеко выходит за пределы таких понятий, как полезная работа и хорошее вознаграждение за нее. Когда я, по собственной воле, подчиняюсь традиции (то есть таким законам, которые тебе в этот момент, пожалуй,

непонятны) и противостою инстинктам, я делаю что-то в этом роде. Такая жизнь не просто обусловлена точными и честными законами: это жизнь более высокого порядка, она — выше, чем если бы я гонялся за призраком безграничной свободы. Законами этими, которые поднимают меня из животного бытия, инстинктивного бытия, я освящаю свою человеческую сущность.

Я не хочу быть гражданином мира. Хочу быть тем, кто я есть и кем не мог быть до сих пор, потому что это было для меня скрыто завесой тайны. Знаю, нехорошо, что я с тобой спорю. Согласно традиции, я не должен критиковать отца, а о недостатках в твоих поступках, и, стало быть, моего воспитания тоже, я мог бы говорить, самое большее, спросив тебя: не в таком ли и не в этаком ли виде предписано правильное поведение? А если бы ты и дальше поступал не в соответствии с Законом, я, самое большее, должен был бы не приспосабливаться к тебе. А воспротивиться я должен, только если ты вынуждаешь меня преступить Закон. Тревога моя — просто теоретическая, да и само предположение, вероятно, безосновательное; если так, прошу прощения: поскольку мы далеко друг от друга, эта опасность все равно нам не грозит. При

всем том я буду рад, если ты простишь мне, что порой я не могу подавить свою горечь и, пускай лишь этим, вызываю у тебя ощущение, будто вынуждаю тебя отвечать за что бы то ни было. Но пойми, папа: я лишь тогда мог бы быть без остатка преданным Торе, если бы и ты поступал так же, а потому я часто мучаюсь из-за того, что обязан почитать отца своего. Потому что пускай я только еще учу мицву правильного поведения и мышления, но живу я уже в согласии с ними. Ибо написано: «Свершим и выслушаем!», то есть: свершив поступок, мы поймем слово Торы. И потому что не только познания мои свежи: свежа и боль, что я лишь сейчас приобщился к ним.

Ты не должен переживать: почтение и любовь к маме я тоже сохраню. Конечно, обо всем том, что произошло и происходит со мной, едва ли я мог бы рассказать ей так же подробно, как пытаюсь рассказать в этом письме тебе. Отношение к тебе у меня другое, хотя ты наверняка не согласишься со многим из того, что я пишу, и боюсь, если мы встретимся, мало найдется такого, в чем мы найдем согласие.

Не хочу впадать в преувеличение, но не могу постичь, как ты способен был вот так прожить полжизни. Правильно сказал в свое время дядя

Йошуа: дер кнобл шмект нох вайтер. Точно, папа: чеснок будет вонять долго. Если человек и не чувствует это сам, то другие-то чувствуют и смеются над ним, и это лишь «человеческое» наказание за то, что он оставил Тору и свой народ.

В молодые годы вы мечтали о «коммунизме», сегодня ты пишешь мне о «мировом гражданстве», и найдется немало евреев, которые думают так же. А ведь никакой путь не ведет к общечеловеческому напрямик. После, когда человек поймет, что он упустил, тогда, поверь, все станет ясным, все найдет объяснение. Опыт у современного человека тот же, что и у наших мудрецов: мы живем в изгнании, и продолжаться это будет до тех пор, пока все мы не станем достойны Искупления. Ты и все, кто думает так же, как ты, — вы бежите от самих себя, от своей судьбы, от своей миссии, отвергая таким образом единственный реальный шанс, который для еврея — не просто возможность, одна из многих, но мицва, обязательная для всех нас, Божья заповедь. Выполняем мы ее или нет — она существует. Наш путь к целому может вести только через наш удел, через призвание, предназначенное нам, исключительно нам, через нашу собственную судьбу. Герб это или клеймо,

но, что бы мы ни думали, что бы ни делали, это наша миссия. И даже тот, кто нас ненавидит, тоже напоминает нам об этом нашем долге. Возможно, в этом — как раз их призвание. Ведь пути Господни неисповедимы.

Я должен быть человеком, пишешь ты, человеком без всяких эпитетов. Но ведь это опять же абстракция, папа: на сей раз абстракция «гуманизма». И она тоже — бесплодна. Пойми, то, что происходит, — вовсе не случайно. Ты можешь тысячу раз пытаться избавиться от своего еврейства: еврейство все равно не покинет тебя. Это — наша судьба, папа, от судьбы же своей никому не уйти. Мы могли бы быть голландцами, или албанцами, или французами, но ты ведь согласишься, что это не то же самое! Разве это не заставляет задуматься?

Надо заканчивать, я и так уже слишком долго болтал о несущественном, мирском. Оправдывает меня лишь одно: ты спросил, а я почтительно отвечаю. Суть не в том, откуда я добрался сюда, суть в том, что я добрался и нахожусь здесь. В будущем я наверняка не буду писать так много и в таком тоне, но это был исключительный случай, ты, видимо, тоже это понимаешь. Я вроде как тебе представлялся. Прилагаю свою

фотографию, сделана она недавно, на сеуде мицве (праздничном пиршестве) по случаю моего возвращения к Торе.

В своем письме ты сказал, что гордишься мной. Думаю, теперь у тебя есть на то причина, даже если ты в данный момент и не чувствуешь ничего такого. Надеюсь, со временем ты меня поймешь. Еще ты написал, что мы давно не говорили с тобой о серьезных вещах. (Пожалуй, вообще ни разу.) Сейчас мы это можем, вероятно, восполнить. И полагаю, у нас еще будут такие возможности — если ты посчитаешь это уместным и, разумеется, если Всевышний захочет.

Обнимаю.
Твой сын
Авроом».

Когда он складывал страницы письма (их было двенадцать), руки у него дрожали. Глаза жгло, горло и губы пересохли. В конверте лежал еще один конверт, поменьше: сначала он его не заметил. Вытащив и нервно пытаясь вскрыть, он разорвал его наискось.

Будто траурное извещение, подумал он, глядя на черный пиджак, длинные пейсы и черную шляпу над белым лбом. А вообще — то же узкое, с резкими чертами лицо, очки, карие, глубоко

сидящие глаза, те же сжатые губы, за которыми прячется беспокойство, — что и на его собственном черно-белом снимке, сделанном тридцать лет назад, на вручении диплома.

Эта фотография была цветной, но лицо сына все равно казалось неживым: оно было белым, как его доверху застегнутая рубашка. То ли одежда была тому причиной, то ли редкая, рыжеватая щетина, которую он впервые увидел на лице сына, но у него сдавило горло, и он, глотая слезы, вынужден был сказать себе, что взгляд, устремленный на него с фотографии, — все-таки чужой ему взгляд.

Жертвы Холокоста обслуживаются вне очереди

Шалом, всем добрый день, сердечно приветствую уважаемых гостей, участников группового тура от фирмы «Вива Трэвел», на фестивале «Нет новому Холокосту!», желаю приятно провести время, очень вам советую, не суетитесь, не толкайтесь, сохраняйте спокойствие, не создавайте панику, для паники никаких причин, номера уже всем выделены, двухместные, четырехместные, для любителей ностальгировать — сорокаместные, с двухъярусными нарами, слева мужчины, справа женщины, ну-ну, не надо волноваться, шутка, я сама через это прошла, честно, но знаете, главное, чтобы мы снова могли смеяться или, во всяком случае, разумно воспринимать то, что с нами было, для этого мы, собственно, здесь, а сейчас прошу обратить внимание, гостевые анкеты нужно заполнять правильно, фамилия, имя, адрес, телефон, *прежняя* фамилия, перешли ли в христианство, тоже шутка, из номеров ничего на память не брать, владелец гостиницы — председатель местной общины, но пейте, ешь-

те и платите, сколько захочется, в конце концов один раз живем, а пропо, позвольте маленький анекдот, не знаю, может, уже слышали, на всякий случай расскажу; приходит блондинка на курсы реинкарнации и говорит: дорого, конечно, дорого, но живем-то один раз; а вот еще, раз уж вы так весело настроены: что означает черная прядь в прическе блондинки, а? луч надежды; ладно, повеселились и хватит, хотя для сплочения коллектива чуть-чуть несерьезности — тоже вещь полезная, шутить люди даже *там* шутили, мне ли этого не знать, а потом, я ведь еще замсекретаря по оргвопросам была, я же сказала, не толкайтесь, не лезьте вперед, жертвы Холокоста проходят без очереди, дадим им возможность разместиться первыми, все-таки это мемориальная экскурсия, ведите себя достойно, сколько в группе не говорящих по-венгерски? одного не пойму: тогда зачем они именно в эту группу записались? ладно, потом мы их тоже спросим, и обещаю, у каждого будет возможность рассказать свою историю, у каждого! так что чувствовать себя будем великолепно, если, конечно, захотим, а в самом деле, я и не посмотрела, блондинок среди нас нет? впрочем, если есть, они все равно шведки, значит, не понимают, что я говорю, им переводчик

переведет, а если я подмигну, не станет переводить, у меня ведь так, один глаз плачет, второй — стеклянный, тоже шутка! просьба держаться вместе, следите за моим зонтиком, сине-белые полоски, видите? сине-белый зонтик, сейчас и это позволено, до чего хорош собой взгляд небесно… бело-голубой, прошу прощения за плохой каламбур, пам-па-рам, сегодня об этом разрешается говорить, даже у нас, хотя деньги за депортацию выплатили смешные, да и жидом в любой момент обзовут, что уж там скрывать, раньше, при прежнем режиме, такого не было, тогда, правда, и экскурсий мемориальных не разрешали, короче, что есть, то есть, другого, как говорится, нет и неизвестно, bitte, bitte warten, I told you Sir let the survivals check in first, пожалуйста, ведите себя прилично, нет, вы только посмотрите на него, расталкивает всех локтями, прямо как в вагоне, господин, вы не поляк случайно? слушайте, я вам гарантирую, номер получите на пятом этаже, там и работайте себе локтями, сколько влезет, экий шайгец, нет, в те времена вам такого бы не позволили, да уж, от этого не избавишься, хоть ты пажеский корпус закончи, гены есть гены, и расовая теория тут ни при чем, Боже сохрани, тут другую теорию приходится вспоминать, насчет

дурной предрасположенности, а потому я вам говорю: милые мои, давайте любить друг друга, сердце — самое дорогое сокровище, прекраснее слова «любовь» нет на всем белом свете, недаром матушка моя, царство ей небесное, даже *там*, даже в отхожем месте все, бывало, напевала венгерские песни, потому что настоящая патриотка была, патриотка родины, Венгрии, а отец мой, родной мой папочка, такой остряк и шутник был, каких свет не видывал, а уж через что мы прошли, об этом лучше не говорить, но если ты в предыдущей жизни был человеком, то есть, хочу сказать, *до того*, то останешься менч где угодно, так моя матушка говорила, хотя чего бы я могла порассказать, вы представить не можете, ну хорошо, мы тут, в конце концов, не затем, так что быстро распаковывайте вещички и пошли по программе, я слышала, у вас позавчера была Прага, вчера Братислава, завтра Вена, программа плотная, was schön und teuer, все предусмотрено, дух некогда будет перевести, погоняют вас, бедных, как Зингер швейную машину, настоящий ностальгический тур, все соки выжмут, прошу прощения, но то, что вы здесь увидите, не забудете никогда, а то, что услышите, я имею в виду, от меня, тоже кое-что, только давайте соблюдать

дисциплинку, никто чтобы на улице не отставал от группы, проблем и так будет много, я по опыту знаю, а уж если кто отстанет и заблудится! так что убедительно прошу всех: сложили вещички, посетили отхожее… хочу сказать, туалет, и готовы к походу, в номере не засиживаться, даже если тут номера лучше, чем в Братиславе, и горячая вода течет, словом, тут же спускайтесь ко мне, очень вас прошу, никому не позволяйте, чтобы вас *рассортировывали*, не будем терять друг друга из виду, вот так, и помните: чем раньше отправимся, тем раньше будет ужин, нечего тут стыдиться, у меня тоже всегда с собой немного печенья, спокойствия ради, ну и, конечно, каждый может купить себе шоколадку в автомате, что говорите: диабетикам? нет, к сожалению, для диабетиков автоматов нет, да, знаю, идише кранк-хейт, но, к сожалению, ничем помочь не можем, где-нибудь в другом месте, в венских автоматах, или в Америке, или где, на Луне, наверно; ну, двинулись? вот так, встаньте, пожалуйста, парами, давайте я вас сосчитаю, надеюсь, все здесь, потом, если кому-то станет плохо и он отстанет, я должна быть в курсе, всегда ведь найдется один, а то и двое, на кого экскурсия особенно подействует, воспоминания, то-се, сами знаете… хорошо, тогда

двинулись, здесь, пожалуйста, налево, все время налево, что бы вы там ни говорили, не могу я из своей шкуры вылезти, из кожи старой еврейки, из которой абажур для настольной лампы собирались сделать, и пускай мне говорят что угодно и кто угодно, я так и останусь коммунисткой, да будет вам известно, так что в самом деле ничего больше не остается, кроме как — пролетарии всех стран, соединяйтесь, отрекитесь от старого мира ко всем чертям, все лучше, чем евреев убивать, или если не пролетарии, то миролюбивые народы всех стран, соединяйтесь, вставай, проклятьем заклейменный, помните это, а? в Израиле это уже не поют? и Первое мая уже не празднуют? мило, скажу я вам, зато у вас хоть суббота всегда свободна, ну хорошо, давайте не будем об этом, вижу, не все понимают шутки, хотя без юмора что за жизнь… тогда, пожалуй, вернемся к сегодняшней программе, сначала осматриваем ортодоксальный главный храм, потом синагогу status quo, потом знаменитую синагогу на улице Дохань, гетто, Древо памяти, Сад мучеников, музей, потом ужин с развлекательной программой, надеюсь, у всех с собой таблетки от изжоги, ведь венгерская кухня, да в кошерном исполнении… ну, не хочу вас пугать, только это пища не диетическая, мой

желудок ее не выдерживает, хотя, если ты привык к марокканским блюдам… марокканцев нет в группе, верно? я, правда, против сефардов ничего не имею, но, честно говоря, не обрадовалась бы, если б мой сын *такую* привел домой, у меня сын в Израиле учится, и я все время трясусь, когда слышу о взрывах, но парень не желает домой возвращаться, не желает, и все тут, а ведь дома как хорошо бы ему было, я бы его на руках носила, честное слово, кого же еще, если не его, нигде ему не будет так хорошо, как с матерью, если уж мы одни с ним остались, отец-то его, негодяй, быстро свалил, не пойму, как я могла за него выйти, а гой блайбт а гой, как сказал поэт, к тому же выпить любил, ах, молодость, ветреность, мы с ним на осушении Ханшага познакомились, в строительном лагере, еще в пятьдесят втором, он тогда о мировой революции разливался, даже когда мы с ним в палатке… ну, вы понимаете, и перед этим, и после этого, разве что *во время* забывал, как раз эта его страсть мне и нравилась… Господи, что я говорю! ну ничего, тут ведь все свои, или нет? да чего там, были ошибки и перегибы, рис в наших широтах расти не желает, но ведь тот же огонь горел в душах кибуцников, когда они оросительную систему создавали в пустыне, там, по крайней ме-

ре, это себя оправдало, хотя, я слышу, прижимают нынче кибуцы, что знаю, то знаю, и еще знаю: когда бывший министр иностранных дел жил с двумя женщинами в палатке, еще в героические времена, это вот и был коммунизм, это и была большая коалиция, и вообще грех спорить, он и сейчас складный парень, случается видеть по Си-эн-эн, таких у нас и быть не могло, и не было, да и палаток-то не хватало, но мы были молоды, душа кипела горячей верой, надеждой, alte schöne Zeit… а теперь, пожалуйста, посмотрите налево, перед вами будапештская ортодоксальная синагога, самих ортодоксальных евреев вы, правда, не увидите, и вообще, конечно, вопрос, хочет ли кто-то видеть этих ортодоксальных евреев? вы хотите? да ведь у вас von haus aus пингвинов этих выше головы, пардон, это мне сын писал, в Эреце так называют тех, в сюртуках, я о них мало знаю, но мне этого хватает, мы, во всяком случае, были неологами, что, как отец мой говаривал, означало: знаем, что не соблюдаем… все равно нелегко было, а нынче говорят: кто тут молод и ортодокс, тот обязательно новообращенный из не-евреев и потому лезет из кожи, чтобы доказать; но все равно с ним надо вести себя так, словно он еврей от рождения, что вы на это скажете? мне вот что

приходит в голову, когда я об этом думаю: уж простите меня, но в самом деле их надо *принимать* за евреев, потому что урожденный еврей не настолько глуп, чтобы пейсы отращивать и в сюртуке ходить, если день памяти Холокоста — раз в году, а жидом обзывают — каждый день, да, такого при прежнем режиме не было, что бы кто бы ни говорил, тогда реакции затыкали рот быстро, можете спросить вон председателя нашей общины, он и при прежнем режиме на службе состоял, сначала в полиции, потом вот сюда попал, добрых тридцать лет назад, виртуоз был, скроется, полежит на дне, потом снова всплывет, и ничего тут постыдного нет, где должно биться сердце человека, которого преследуют, если не слева? а вы знаете вообще, в чем разница между ортодоксальной общиной и общиной неологов? в том, что председатель первой уже в пятидесятых годах был на службе, а второй — лишь в пятьдесят седьмом вступил в рабочую гвардию, только прошу, не нужно обобщать, мне и самой бы язык прикусить: все сплетничаю, не могу удержаться, все сплетничаю, кто как те времена пережил, и вас попрошу не спрашивать, такое спрашивать нельзя, был, кстати, у меня случай, один коллега, он гид в Пече, в семидесятых годах водил совет-

ские группы, конспиратор отменный, оглядится, бывало, что и как, потом, подойдя к минарету, объясняет, дескать, когда пробьет время молитвы, муэдзин выходит на балкон и кричит оттуда: киндерлах кимен цу давенен, и обязательно в группе найдется несколько человек, у которых глаза лезут на лоб, а когда экскурсия закончится и группа разбредется кто куда, эти подходят, обступают его, и расспрашивают, и расспрашивают, жалуются на свою жизнь, жаловаться, конечно, они и сегодня любят, вон и сын пишет, сколько их там у вас, и что даже курвы… пардон, проститутки в основном русские, и что цены сбили, даже анекдот есть: какой в Израиле второй самый распространенный язык? ну, кто ответит? так иврит же! потому что эти все заполонили, я, конечно, против русских ничего не имею, но все-таки это слишком, говорят, в Тель-Авиве уже елки рождественские продают, они еще революцию там устроят, ну вот это, пожалуй, пускай лучше делают дома, я, правда, не отрицаю, что я коммунистка, но все-таки пускай не в Израиле коммунизм строят, пускай у себя, для других русских, тем более что они и не евреи в основном-то, хоть я не расистка, но это все-таки никуда не годится, я, скажем, к цыганам тоже ничего не имею,

но по соседству с ними жить не хотела бы, пусть они никого не трогают, но пусть не поминают их с нами на одной странице, ни их, ни педиков, уж извините, тут я категорически… но давайте, пожалуй, вернемся к синагоге, знаете анекдот про еврея, который попал на необитаемый остров и строит там две синагоги: одну, чтоб молиться, другую, в которую он ни ногой, вот примерно так и у нас; молодых людей в шляпах просьба не щупать, это выставочные экспонаты, называется: религиозный ренессанс, шучу я, шучу, сюда мы тоже давайте зайдем, это кошерная бойня, колбаса слегка жестковата, тоже, наверное, реликвия прошлого, вареную я бы на вашем месте не стала есть, в прошлом году попробовала, когда первый раз вела группу, так на следующий день сама позеленела, такую колбасу, думаю, последний раз в сорок пятом есть приходилось, из конины, не удивлюсь, если эта сделана тогда же и из того же, ну, не стану рассказывать, какие у меня были еще симптомы, приятного всем аппетита, а кто не настаивает на кошерном, тут недалеко есть классная колбаса, копченая салями, вообще среди вас есть верующие? ах, почти вся группа? поэтому вы в шляпах? я-то думала, солнечного удара опасаетесь, тогда молчу, кушайте, пожа-

луйста, дегустация оплачена… тут перепутали что-то, я ведь говорила, верующих мне лучше не давайте, ну ладно, ничего, как-нибудь переживем, столько всего пережили, в Освенциме тоже с нами верующие были, финнами их называли: фин Минкач, фин Сатмар, эти только друг друга поддерживали, кто не из них, тот вроде и не человек, а потом всяко случалось: и из них кто-то выживал, и из нас, фифти-фифти… так, если закончили осмотр, идем дальше, это синагога status quo, вы не против, если я посплетничаю? из этого дома все хотят какую-нибудь пользу извлечь, прежнее руководство продало его за гроши какому-то госпредприятию, а нынешнее руководство требует возвратить в счет компенсации, но это пустяк по сравнению с тем, что было отобрано и что никто не думает отдавать, потому-то мы, старухи еврейки, такие нищие, вот приходится в семьдесят лет позориться, клоуном работать, я ведь тоже не гидом раньше была, историю в школе преподавала, так уж мне повезло, а эта нынешняя работа — только прибавка к пенсии, братья на Западе, они начихали на нас, когда немцы компенсацию распределяли; нет, я не только из-за денег, иногда интересно бывает, опять же все-таки ты не один, дети разлетелись,

да они и слышать обо всем этом не хотят, чего им говорить, все равно не поймут, а у кого тут наскребется хотя бы дальняя родня, которая знает, о чем ты говоришь? потому она и хороша, эта работа, даже если плата — не плата, а насмешка, знаете, тут дело в том… нет, все-таки не стану я этого вам рассказывать, что значит почему? потому, что не хочу вылететь, вы ведь не знаете, какая тут система, мы — сотрудники Еврейского музея, туда вы тоже пойдете, успокойтесь! просто мы сданы фирме «Вива Трэвел» в аренду, музей за вас получает по сто форинтов с головы, из них двадцать идут нам, гидам, музей принадлежит общине, а «Вива Трэвел» делает бизнес, по-тихому арендует служащих общины, чтобы группы водили, а чтобы они помалкивали, затыкает им рот мелкими подачками; вы спросите: какая от этого выгода общине? а кто вам сказал, что от этого общине должна быть выгода? выгода тут будет разве что тому, кто это наверху придумал: его устраивает, если с ним поделятся барышом; ну вот, мы находимся у самой большой в Центральной Европе синагоги, осмотреть Древо памяти и посетить синагогу можно за отдельную плату, и, пожалуйста, не стесняйтесь опускать деньги вот в этот ящик с надписью «На сохранение па-

мяти мучеников», куда идут деньги? этого мне по статусу знать не положено, но у кого хватит смелости открыть рот, если один из оставшихся в живых будет заботиться о деньгах, которые служат памяти его погибших соратников? о живых и нравственных покойниках — или хорошо, или ничего; словом, пожертвования вынимают из ящика ежедневно, есть строгое расписание, кто в какой день, для одного-двух человек — скромный дополнительный доход, к тому же без налогов, так к этому и относитесь, в конце концов любое сообщество заботится о немощных членах своих, не бросает их на произвол судьбы… я вас очень прошу, не надо толкаться, пропустите вперед жертв Холокоста! и не забывайте о пожертвованиях, профилактика, модернизация стоят дорого, так что сегодня на Древе памяти шелестят и звенят пока лишь металлические листья, призывая нас помнить о погибших близких, которые, по крайней мере в эти мгновения, могут быть с нами, если уж мы не могли быть с ними в последние их минуты… звенят и покачиваются под ветром, как в лагере покачивались окоченевшие тела повешенных, или, скажем еще, как пальчики на детских ручках, что машут нам с того света; но блага модернизации ско-

ро достигнут и религиозных общин, и тогда по всей Европе станут слышны звучавшие когда-то крики о помощи, и предсмертные стоны, и плач младенцев, и слова последней, оборвавшейся на полуслове молитвы, и каждая минута давних страданий оживет и на веки вечные останется с нами, а сообщество наших близких, и живых, и усопших, сольется в виртуальной реальности, и значит, будет существовать в Интернете, и Древо памяти заживет самостоятельной жизнью, а с ним оживут все памятные мероприятия, которые будут возле него проходить, и наверно, когда-нибудь отсюда полетят во все точки земного шара эстрадные программы, возводя аудиовизуальные мультимедийные памятники нашим близким, умершим в лагерях, памятники, которые будут соответствовать и времени, и тому, что было; на каком-то из этих листьев есть и имя моей матушки, олео а-шолом, учимся, учимся, да благословенна будет память ее, немалые деньги взяли с меня за это, но если не на память о родной матери, то на что еще тратить деньги! знаете, вовсе не одно и то же платить валютой или сэкономленными форинтами… у кого есть деньги, того пускай помнят, у кого денег нет, тот будет предан забвению, вот какие слова можно было бы

высечь на пьедестале… а теперь, пожалуйста, про пожертвования не забудьте!.. вот так, каждый, каждый, не отвлекайтесь, и после этого можно двигаться дальше, здесь рядом — кладбище бывшего гетто, здесь покоятся люди, которых убила ненависть, пусть же любовь хранит память о них! все равно, русские ли, НАТО ли, важно, чтоб кто-нибудь был тут и защищал нас; а сейчас мы находимся в самой большой синагоге Европы, здесь мы с вами ненадолго расстанемся, здесь о вас позаботятся специальные экскурсоводы, а я, во избежание трений насчет сфер компетенции, подожду вас тут, на скамейке, группу поведет господин кантор, господин кантор — он как музыкальный автомат: сунете ему в карман деньги — и господин кантор запоет, если денег мало, запоет поминальные песни, если много — поминальные песни и веселые мелодии, за отдельную плату — венгерские народные песни и всякие игривые куплеты, репертуар у него очень большой, не удивляйтесь, у господина кантора такой приработок, нынче ведь и похороны-то редки, не забывайте, что это маленькая община, надо как-то себя поддерживать, но мы будем держаться до последнего еврея-покойника, как говорят у нас в общине, так что синагога для господина

кантора — тоже маленький бизнес, он себя так поддерживает, а вообще, он по совместительству хорист в оперетте, у нас тут, правда, такой роскоши, как у католиков, в Базилике, нет, там бросишь в кружку полсотни — свет загорается вокруг святой десницы, бросишь сотню — святая десница еще и помашет вам, Аве Мария и все такое! шутка, надеюсь, среди нас нет никого, кого бы это задело? не хочу ничьих чувств оскорбить, но я с самого начала сказала, что не люблю водить смешанные группы, я не общество еврейско-христианской дружбы, правда, и в чисто еврейских группах иной раз попадаются оберхохем, а то и несколько; гои, те, по крайней мере, проникаются… идите-идите спокойно, не бойтесь, господин кантор всегда такой суровый, пока не узнает, на какие чаевые ему рассчитывать, так что лучше дать вперед, тогда он успокоится, семья, знаете, большая, к тому же молитвы у него записаны в фонетической транскрипции, но я вам этого не говорила; что-что? в группе есть такие верующие, которые не войдут в синагогу с органом? ах ты Боже мой, если бы это была единственная трефная вещь в нашей общине! эх, я бы вам кое-что рассказала, но лучше не стану, потому что и в следующем месяце хотелось бы получить группу,

но можете мне поверить, то, что творится здесь, даже в Одессе не посмели бы сделать, и даже, может, в Чикаго, потому что у гангстеров все же есть какое-то социальное чувство, не то что у этих, для которых нет ничего святого, они даже мертвых грабят, тут, правда, мертвых уже больше, чем живых, это надо признать, в этом и есть самый большой гешефт… ну-ка, придвиньтесь ближе, так и быть, расскажу, как это делается, надгробья на кладбище падают будто по расписанию, но только на тех могилах, которые навещают родственники из-за границы, и родственники, разумеется, платят за восстановление памятников, если же у покойника родных нет, а надгробье у него, как назло, старинное, добротное, то его от этого надгробья любезно избавляют, зачем душе лишние заботы, а камень заново отшлифуют и продадут, да… но главный навар получают не здесь, а еще при погребении, в зависимости от того, кто покойник: еврей, которого в урне хоронят, или родственник-христианин; народ половчее, те, конечно, торгуются, потому что никакого точного прейскуранта не существует, и тут уж, при таких-то ценах, без разницы, есть в церкви орган или нет, но не только на погребении делается бизнес, но и на обращении в иудаизм, правда

ведь, странно такое слышать, кто бы подумал, что в наше-то время, когда движение, как в пятницу вечером, как раз в другом направлении происходит, еще случается и такое; раньше, правда, свидетельство о крещении тоже получить не всегда было просто, но и теперь тут много всякого, ведь не за каждым следят целый год, соблюдает ли он религиозные правила, и вообще, с какой целью он вдруг захотел стать евреем, но если тебе приспичило и у тебя есть деньжата, то раввинат как-нибудь найдет решение, не беспокойтесь, слышали, наверно, пословицу: были бы деньги — и незаконнорожденный законнорожденным станет, а еврея из гоя сделать еще проще, ничего тут особенного не требуется, кроме согласия сторон, ну, для мужчин — еще маленькое оперативное вмешательство; а что насчет этого думают и чувствуют те, кто целый год учится, потеет, ожидая того же, это никого, разумеется, не интересует, я их в общем-то тоже понять не могу и не могла никогда, да я что, я просто гид, сопровождающий, человек посторонний, и смотрю на все это со стороны, и болит у меня не то, что у вас, но, позвольте спросить, почему у меня должно болеть то же, что у других, если у них не болело, когда увозили нас, а когда мы вернулись — кто,

конечно, вернулся, — то стали спрашивать, как семеро гномов: кто ел из наших мисочек? кто надевал наши штанишки? кто живет в наших квартирах? кто из наших остался в живых? кто изнасиловал нашу сестренку? кто убил нашего отца? кто они такие, и что тут случилось, и кто мы такие?.. не об этом я говорить собиралась, не хотела я говорить об этом, никогда я не хочу говорить об этом, да и помню-то смутно, но как-то само оно вылезает, вот так я стала на долгие годы вегетарианкой, потому что много дней прятала матушку, так мне люди говорят, хоть я сама этого не помню, и еще говорят, что несколько месяцев лежала в лагерном лазарете, тоже не могу ничего вспомнить, да и не хочу, значит, я человек нормальный, но скажите, это нормально — оставаться нормальным после того, что случилось, и про что говорят к тому же, что этого вовсе не было, но отчего тогда мы рассудком тронулись? может, вовсе и не от того, что было, а от того, что кое-кто говорит, что этого вовсе не было? потому что этому не верят! конечно, этому и нельзя поверить: ведь поверить можно тому, что можно представить, а этого нельзя ни представить, ни описать, ведь для того, чтобы нечто стало понятным, оно заведомо должно быть представимым,

а оно непредставимо… словом, кому мне это рассказывать, если собственный сын не хочет меня слушать, потому что боится меня, я по глазам вижу, не верит, считает, что я все преувеличиваю, и в каком-то смысле он прав, это за пределами того, что можно рассказать и понять, поэтому лучше я ничего никому не стану рассказывать, я и группы-то беру только такие, в которых есть люди, которые знают, о чем я говорю, и понимают меня, потому что и сами об этом не говорят, потому что никогда не могли говорить об этом, потому что, наверное, это и невозможно… вот так мы, собственно, и разговариваем всегда о том, о чем никогда не разговариваем; ага, вижу, из синагоги выходит моя группа, наверняка очаровал их господин кантор, он так вдохновенно поет для всех, для кого угодно, будто не его мать здесь убили выстрелом в затылок, но, когда я его спрашиваю, он всегда говорит: каждый звук, который он издает, посвящается памяти матери, и каждый форинт, оставленный туристами у него в кармане, есть недоплаченная компенсация; так, все здесь? тогда — в музей, жертвы Холокоста, проходите, пожалуйста, первыми! направо вы видите народные еврейские костюмы из разных восточноевропейских стран, но скоро, может

через несколько лет, тут будут стоять чучела евреев, если, конечно, удастся заполучить последние экземпляры, и пускай грядущие поколения, школьники и взрослые люди, удостоверятся, что евреи вовсе не пархатые, даже после смерти, и не были никогда пархатыми, давайте скажем хором, погромче: мы не пар-ха-тые! вот так, ну правда же, легче стало? вроде как освобождаешься от какой-то душевной боли; счастье еще, что есть отдельный переводчик с немецкого, немецкие группы я не вожу, просто представить себе не могу, как можно вести в одной группе столько разных людей, верующих и безбожников, вроде меня, вперемешку: первым не нужны пояснения к предметам культа, а вторые все равно ничего не поймут, объясняй не объясняй, я сама кучу времени потеряла, пока поняла, что для чего, а ведь в детстве я бывала в синагоге, Господи прости, как я, помню, умирала там от скуки! но с тех пор как нас депортировали, я в синагогу ни ногой, говорю как есть, потому что Бога или нет, или он есть, а если есть и если Он допустил, чтобы случилось *то, что* случилось, если на это была Его воля, то я молиться такому Богу не желаю, нравится это вам или нет, вам или кому угодно… ладно, вы экскурсию оплатили, так что

одерните меня, чтобы я не болтала что попало, я ведь говорю, пока меня слушают, да это не так уж и важно, потому что группы, которые я вожу, это вроде тех психотерапевтических курсов, куда и я в свое время ходила, правда, здесь иной раз кто-то, в худшем случае все, знает всё лучше меня, и тогда непонятно, кто кого ведет, только сплошные споры стоят, из какого гетто когда забирали людей и в каком лагере было ужаснее, но я вижу, каждый чувствует себя лучше, если может говорить, может высказать, что у него на душе, или даже ему и говорить не приходится, все равно все понимают, о чем он молчит, хотя *понять* всё то, что с нами случилось, означало бы, что мы приписываем случившемуся смысл, видим причину и цель, которые можно постичь трезвым умом и нормальными чувствами, а поскольку их, причины и цели, нет, я все время со страхом думаю: если те, кто нас ненавидит, не ходят на курсы психотерапии, то и мы туда ходим напрасно, ведь на кого бы мы ни посмотрели, мы должны бояться его, разница только в том, что если боится страна, то боятся все вместе, и могут взять в руки оружие, и если хватит ума и удачи, то могут даже победить, а мы тут боимся каждый сам по себе… но те, кто вокруг, тоже боятся, в конце концов

они тоже здесь прожили жизнь, и этого вполне достаточно, чтобы каждый боялся каждого и каждый каждого ненавидел; кстати, у нас недавно открылась клиника холокостотерапии, персонал, сплошь из уцелевших, лечит пациентов, сплошь из уцелевших, можете себе представить? во всяком случае, жертвовать можно на клинику тоже, вдруг кому-нибудь поможет… хотя все население, поголовно, население целой страны и окрестностей на психотерапию ведь не пошлешь, даже если принять как факт, что преследователи тоже страдают манией преследования… ладно, сейчас нам пора идти, дело к ужину, сюда мы еще вернемся; после ужина тут, перед синагогой, на площади, будет концерт израильских народных танцев, так что, если кто-то за несколько дней соскучился по родным напевам, может отвести душу, поплясать, к вечеру будут стоять шатры, я, правда, не понимаю, как это можно, веселиться рядом с кладбищем гетто, кушать фалафель и флодни, у меня, например, все обратно просится, стоит подумать, что даже в то время мы только тогда и ели, если что-то от покойников оставалось, а потом… словом, рядом с покойниками; в конце концов, правда, привыкли… к тому же говорят, что восточные евреи на кладбище весе-

лятся, так они воздают должное умершим, так дольше не забывают их, потому что кладбище — это дом вечной жизни, верно ведь, словом, кто может, тот пускай веселится, пусть спасается, кто не пьян, Бог, мадьяру счастья дай, и богатства тоже, лично меня как раз коробит от этого, ведь не мертвые восстанут из праха, скорее мы уподобимся им, станем прахом, ведь и мы могли бы лежать там, а они могли бы стоять здесь, и, может, они, именно они заслужили того, чтобы остаться, в то время как нам скорей надо было бы… да, случайно вышло наоборот, но в конце-то концов все равно ведь, кого терзают подобные мысли, мертвые живут среди нас, а мы все — живые мертвецы, мы пережили свою смерть, нас бы в самом деле набить опилками да выставить тут, в музее, и господин заместитель секретаря общины, который тоже ходил на курсы… раньше он сотрудником был в партийной газете, а теперь любит сам водить большие группы по последним залам, разливаясь насчет еврейского ренессанса, ну и насчет сионизма как решающего поворота, повернувшего историю евреев от пассивной стадии к активной… а пропо, знаете, кто такой сионист? это тот, кто на деньги богатых организует отъезд в Израиль бедных и глупых, ага, вижу,

вам понравилось, да? и у вас уже в печенках советские православные евреи да африканские чернокожие евреи? прошу прощения, но это в самом деле уже слишком… или не для всех? ну-ну, вижу, не все еще утратили чувство юмора… словом, когда господин заместитель секретаря стоит здесь и говорит об Израиле так, будто о племяннике, который стал чемпионом по плаванию… замечу, кстати, то же самое относится к тем, кто свое еврейство скрывает, а в то же время гордится этой страной, тем, что она возникла и уцелела, но и стыдится, что она стала такой же, как прочие, что им приходится убивать, чтобы жить, эти люди — как целомудренные девицы, которые если член берут, то пальчиками, через носовой платок, извините за такое сравнение, но старая еврейка вроде меня может себе позволить быть откровенной… одного только не понимаю: как это среди вас находятся люди, которые защищают арабов; словом, было бы здорово, если б господин заместитель секретаря общины, сделавшись экскурсоводом, демонстрировал нас посетителям, а мы бы стояли на бронзовом постаменте, сменяясь каждые полчаса, или пускай даже с нас, оставшихся в живых жертв Холокоста, сделали бы восковые фигуры а-ля мадам Тюссо,

с номерами на руке… я вижу, многовато вам воспоминаний, не очень-то приятно все это, я понимаю, тогда, пожалуй, пойдем дальше, господин заместитель секретаря чаевые из рук в руки не берет, деньги просьба опускать в ящик с надписью «На содержание музея, на нужды по обучению и религиозному воспитанию молодежи, а также на сохранение памяти о мучениках», только мелочь, смотрите, туда не кидайте, мелочь очень звенит, когда вытряхивают ящик, и потом оттягивает карман, да, и чтобы не слишком много было вопросов, все поняли? ни времени лишнего нет, ни ответов, я буду внизу, советую поторапливаться, нас в ресторане ждут, клезмеры имелись в виду только на время закусок и супа, и еще после нашего будет один концерт, премьер-министр устраивает прием в честь делегации ЕС, там тоже играют, поди знаете, нынче мультикультура — самый что ни на есть тренд, потом цыганский оркестр, этим спешить некуда, их больше, отбор цыганских оркестров на мероприятия вообще вопрос политический, los, los, alles heraus! шутка! пожалуйста, жертв Холокоста пропустите вперед! но и вы, жертвы, не лезьте, не толкайтесь, ничего, что в зале Холокоста немного душновато, успокойтесь, всё успеете посмотреть… как вы

заметили, мы находились в точной копии вагона для скота, кто хотел, мог даже полосатую робу надеть, всё ради ностальгии, или пускай ради порции жути, которую испытали те, кто впервые почувствовал себя униженным, с желтой звездой на груди; розовых треугольников, увы, нет! прошу не уподоблять педиков евреям, да, честно говоря, цыган я бы тоже рядом не поминала, не стоит все мешать в одну кучу! когда готовился проект экспозиции, была мысль поставить тут и маленькую газовую камеру, но идея не прошла, из противопожарных соображений: мало ли, вдруг утечка газа… хотя посетители в камеру входили бы только под строгим контролем врача, и всего на несколько секунд, просто чтобы получить общее представление, но план не был одобрен, так же, как и план выставки, которая должна была показать, что в Венгрии людей, спасавших евреев, было больше, чем самих евреев, и что Венгрия просто из кожи лезла, защищая своих граждан от депортации, для того парламент и законы еврейские принимал, да и в гетто евреев сгоняли только для того, чтобы немцам труднее было до них добраться, словом, всё делалось, чтобы ввести в заблуждение неприятеля, и еврейское имущество власти и соседи забирали

всего лишь для пущей сохранности, а в том, что случилось позже, никак нельзя упрекать оккупированную немцами страну, и вообще Венгрии — не было, Венгрия — будет… но там и тогда, где и когда творились преступления, ее точно не было, искупил народ свой грех прошлый и грядущий[1], о Венгрия, страна трех морей, четырех рек! мы в мире места не найдем, лишь только здесь, где мы живем, а в корчме-то шум стоит, а корчмарь, конечно, жид, отравляет он колодец, что за пакостный народец, хейе-хейе-хай! что говорите? ага, нам сообщают, господин заместитель секретаря прийти не сможет, vis maior, бывает такое, он у нас джолли джокер, общинная интеллигенция, ответственный за пиар, руководство музеем совмещает с редактированием общинной газеты, пишет речи к юбилеям Холокоста, составляет заявления и доносы на политиков-антисемитов и антисемитские массмедиа, организует и ведет еврейско-христианский диалог, сидит в кураториях экуменических фондов, старается угодить и властям, и оппозиции, то одно говорит, то другое, в зависимости от того, с кем разговаривает, но балансирует виртуозно, иногда, правда, случа-

[1] Примечания: 1

Фраза из Национального гимна Венгерской Республики. Слова Ф. Кёльчеи, перевод Л. Мартынова. (*Примеч. переводчика.*)

ется раздвоение личности — это когда изредка смотрится в зеркало: в таких случаях впадает на целый день в депрессию… ну ладно, не придет так не придет, давайте поживее на выход, пока из дирекции на нас газ не пустили, хочу сказать, пока не позвонили, потому что вечером здесь никому не разрешено находиться, да и раньше-то разве что руководство общины могло делать осмотр внизу, в винном подвале, когда выбирали подарки для шишек из Комитета по делам церкви, для какого-нибудь деятеля из партии и правительства, для Фомы, для Ерёмы… ну, особо жалеть их не стоит, перепадало и им кое-что, так что пускай господин там, на правом фланге, шепчет, мол, ни к чему так злословить, я уж полчаса как заметила, что он все время бурчит, замечания делает, у него свое мнение, видите ли, ну, только чтобы Appel не получился из этого особого мнения! los! los! ресторан отсюда недалеко, доберемся и ползком, шучу, шучу, а я ведь еще ничего не говорила о том, что недвижимость не только поступает: ее еще и реализуют, если только не передерутся насчет того, чей отец-мать-сын-дочь-зять-невестка-внук-внучка получат квартирку по бросовой цене, но это вы не от меня слышали, от меня вы вообще ничего не слышали, потому что я тут же

от всего отрекусь, как отрекусь от того, что знаю, кому принадлежит этот ресторан, ну, угадайте кому? лично дочери господина секретаря общины, но пусть это обстоятельство никому аппетит не испортит, лучше подумайте, от какой обузы по составлению и оплате счетов избавляются благодаря этому и община, и фирма «Вива Трэвел», и дочь господина первого секретаря, да и где вообще сказано, что мы должны наносить ущерб своим собратьям по вере, обеспечивая выгоду какому-нибудь нееврею, или наносить вред самим себе и нашей близкой родне ради того, чтобы другой еврей получил какую-то выгоду? разве не так? кто с этим не согласен, пусть скажет прямо! ну видите! так что занимайте, пожалуйста, места, скоро начинается программа, эйерцибл, гефилте фиш, эхте унгарише гулаш, одер клецки из мацы, шолет унд флодни, или, в виде исключения, ВИП-страпачки, or some макош губа, или как это, к черту, называется, with authentic klezmer music, но сначала, для аппетита, чуть-чуть кошерной сливовой палинки, а потом, наверно, верпелетский итальянский рислинг… не знаю, немножко, пожалуй, и мне можно выпить, правда, я таблетку приняла, ну ничего, потом еще приму, есть, правда, не хочется, только по привычке, надо

есть, а то ведь неизвестно, будет ли что есть, когда проголодаемся, цена, кстати, включает некоторый doggy bag, я и сама уношу немного с собой, кто его знает, что будет завтра, лучше на всякий случай позаботиться… сами видите, кто что-то накопил, тот гарантированно попал в большое джембори, так что не стесняйтесь, это вроде таблички, что мы члены одного клуба… ну хорошо, еще рюмочку, так и быть… вы что, подпоить меня задумали, почему не сказать напрямик, мол, вы мне понравились? это как после войны: тетка моя, младшая сестра матушки, муж у нее не вернулся с Восточного фронта, а у того младший брат остался вдовцом, в общем, что тут говорить, взялись они за руки и… чего там стесняться, жить-то надо! кто знает, сколько нам еще осталось? так что вперед, кушайте на здоровье, слушайте музыку, мне больше не наливайте, а то я самоконтроль потеряю и тогда буду говорить такое, чего еще не говорила, хотя, если честно, такого вряд ли много, а вы откуда это знаете, красавчик? смотри-ка ты, как он расчувствовался! тоже одиночка? ах, жена в прошлом году умерла и как раз год траура кончился? да, покойников надо отпускать с миром, одна беда: они-то не очень нас отпускают… я ведь тоже знаю, что это

такое, любить кого-то — вместо того, кого любила когда-то… ну, бросьте грустить, может, еще найдете такую, которая и вас полюбит, — вместо кого-то другого, и вообще, если в смехе слышатся слезы, это только признак жизненной силы, мы, еврейки, достаточно мужчин вынесли на своих спинах и видели, как плачут мужчины, уж мы-то знаем, как вдохнуть в мужчину немного жизни… ну вот, пожалуйста, опять вернулись к тому же… свадьба ли, похороны ли, мы везде найдем повод чувствовать себя скверно, и, как венгр веселится плача, так и мы: если веселимся, то всегда в этом есть немного грусти, вот почему у нас принято новый дом не штукатурить полностью: мы всегда в трауре… ладно, уж коли мы так хорошо сидим, скажу: я, правда, не ощущаю себя в изгнании, если, конечно, не считать всю нашу жизнь изгнанием из материнского лона… эй, не подеритесь там из-за тарелки супа, ради Господа Бога, впереди еще клецки из мацы, каждому по три штуки с лишним достанется… да уж, с тем седым господином не хотела бы я оказаться в одном вагоне, я видела, он себе сразу четыре зачерпнул, *зихер*, что он бы нас пережил, теперь-то уж я за ним прослежу… не наливайте мне больше, дорогой мой, а то я наклюкаюсь, эй, куда это вы? неужто

танцевать? ага, это «Атиква», ну конечно, ведь душа евре-ея, обретя Сион, от восторга мле-ет, воскреса-ает он, два тысячеле-етья бо-оли и мечты-ы оживают в се-ердце, если дома ты-ы, ведь народ евре-ейский чувствует себя-а, сильным и свобо-одным, где его земля-а… что скрывать, мурашки по коже! правда, в тридцать девятом у меня тоже мурашки бежали по коже, когда я слышала: Бог, мадьяру счастья дай и богатства то-оже! В грозный час не покида-ай ты мадьяра, Бо-оже! Ведь, страдая больше всех, ад изведав су-ущий, Искупил народ свой грех прошлый и гряду-ущий! в том же тридцать девятом, когда объявляли победителей всевенгерского школьного конкурса чтецов и сам Пал Телеки потрепал меня по щеке, я чуть не описалась от восторга, а в это время уже готовился второй еврейский закон, вы можете себе представить, что это значило для девочки-еврейки — с красно-бело-зеленым бантом на груди она декламирует «Национальную песню», и сам премьер-министр поздравляет ее… а ее отца как раз тогда выгнали с работы, а потом забрали в трудовые команды, но что понимала в этом десятилетняя девочка? я только отчетливо помню, что рука премьер-министра пахла табаком… а вот чем пахли руки отца, не запомнила,

понимаете? понятия не имею, какие были у отца руки, ведь если тебе десять — двенадцать, ты и мысли не допускаешь, что никогда больше не увидишь своего отца, ну а спустя десять лет у меня тоже мурашки бежали по спине, когда мы пели: ве-есь мир насилья мы разрушим до основанья, а зате-ем мы наш, мы новый мир постро-оим, кто был ничем, тот станет всем! Это е-есть наш после-едний и решительный бо-ой, с Инте-ернационалом воспря-янет род людской! ага, вижу, это вы тоже знаете, а ведь я в самом деле верила, что род людской воспрянет с Интернационалом, а потом ничего из этого не вышло, и я опять стала еврейкой… вот, говорила же я, нельзя пить с этим лекарством, сейчас мне вон как хорошо, а потом придется расплачиваться… с чем вы меня поздравляете? с тем, что я могу целую израильскую группу перекричать? для этого особый талант нужен? а что вы думаете, пережить *то*, а потом еще пятьдесят лет прожить здесь, для этого не нужен особый талант?.. прошу прощения, конферансье что-то объявляет… ага, тревога, угроза взрыва, всем покинуть помещение, здание нужно обследовать, ничего, не беда, внизу получите пакеты выживания, кошерная салями, печеночный паштет и прочее,

всем сохранять хладнокровие, жертв Холокоста прошу пропустить вперед! всем принять успокоительное, и чтобы никто, повторяю, никто не паниковал! программа фестиваля будет продолжена в условиях строгой безопасности, у выхода стоит коллега: он раздает сине-белые кипы и головные платки, нет, в противогазах необходимости нет, пожалуйста, накройте головы кто чем может и двигайтесь к месту концерта, на ходу стройтесь по трое, правую руку сожмите в кулак и поднимите вверх, скандируем дружно: Холокост — никогда! Холокост — никогда! соблюдайте порядок и дисциплину, возможно, нас снимают, прямая трансляция, так что прошу всех держаться до последнего, кому плохо, пусть отойдет назад, там им займутся, шокирующие сцены нам не нужны, все готовы? три-четыре: Холокост — никогда! Холокост — никогда! вон, смотрите, отсюда уже видно: на площади перед синагогой начинается концерт, и значки всем достанутся, мы не отступим, секьюрити уже ищут бомбу, овчарок не бойтесь, да-да, знаю, у меня тоже о них дурные воспоминания, но эти по-другому выдрессированы, эти не бросаются на хефтлингов, и, когда мы будем там, на площади перед синагогой, все забудут эту неприятную

интермедию, все смогут потанцевать от души, словно в едином хороводе со своими близкими, от которых вас в эту минуту отделяет всего лишь кладбищенская ограда, но они почти живые, воскрешенные силой памяти, это как искупление! видите толпу? все встают в круг, все танцуют, а кто не желает участвовать в общем танце, пусть идет гулять по ночному городу, потому что это последний вечер, это последний танец, потом все закончится, дальше — что хотите: «Казино», «Мулен Руж», улица Ваци, набережная Дуная, Цепной мост, фуникулер, Крепость, Рыбацкая башня, Руссвурм, улица Пожони, парк Святого Иштвана, проспект Андрашши, где усталый предзакатный свет льется в проемы между домами и сочится сквозь кроны деревьев, где ветер несет сухие листья со стороны Варошлигета, и вы, сидя на террасе кафе в легком пиджаке или пуловере и поеживаясь от вечерней прохлады, вспоминаете жаркие ночи на Балатоне: первый фюредский бал, гарден-парти в Шиофоке, где вы, спрятавшись за домом, впервые целовались с девушкой; а там еще уютные кафе: «Мювес», «Жербо», там «Шипош», где мой отец сделал матушке предложение, или наберитесь смелости и сбегите на денек, на один-единственный день,

и поезжайте в Сегед, на берег Тисы, наберитесь смелости вспомнить, даже если это больно, как вы в детстве прятались в лодочных домиках, как пытались подсмотреть, действительно ли черная Мадонна льет слезы, оплакивая Сына своего; посмейте признаться, что в синагоге вы никакого благоговения не испытываете, зато чувствовали в Церкви обета, вспомните, что вы думали в «Сарваше», под ивами на берегу Кёрёша, мечтая о соседском мальчике или девочке, которые были близко, и все же их отделял от вас целый мир, снова поиграйте словами, имеет ли отношение Мечек к мечети, или вернитесь в мечтах к подножию Аваша, куда вы совершали экскурсию в отряде бойскаутов, и представляли себя волчонком, и краснели от гордости, когда какой-нибудь бойскаут-ветеран трепал вас за вихры, и если ночью вы будете не в силах уснуть, потому что медленно, поднимаясь от лона, разливаясь в желудке, давя на грудь, стискивая горло, вас охватит тоска по родине, до пота в ладонях, до онемения рук, до тошноты, до холодного пота, покрывающего дрожащее тело… тогда не бойтесь заплакать в подушку, или испустить вопль в ночь Нетаньи, как я здесь, в Пеште, — ка-ак мила ты и прекра-асна, Венгрия-а родна-ая, ты-ы

прекрасней и дороже мне любо-ого края, если му-узыка звенит, предо мной твой дивный лик, Венгрия моя-а, на коне я полечу, высоко, высоко, там деревья и леса, реки синеокие, плачет под смычком струна, ждет меня моя страна, Венгрия любимая, доброй ночи, милая!..

Обратный билет

1

З. не понимал, что на него нашло. Что вдруг заставило его встать из-за стола и направиться в газетный зал, но, безусловно, это была какая-то неодолимая сила. Он так целеустремленно подошел к стеллажу и взял последний номер «Уй элет», газеты, которую издавала еврейская религиозная община, словно привык читать ее ежедневно. Хотя точно знал: последний раз он держал ее в руках лет двадцать пять назад, когда сам еще в ней сотрудничал.

И, словно только сейчас осознав, на что отважился, он тем же движением руки, которым достал газету, повернул ее к себе так, чтобы спрятать от посторонних взглядов название. И осторожно огляделся: видел ли кто-нибудь, что он сделал? Но нет, читатели были погружены в чтение, а библиотекарь сидел спиной, перебирая карточки в каталоге.

С минуту поколебавшись, З. двинулся в сторону туалета. В коридоре ему встретились несколько студентов, он торопливо кивнул, отвечая на их приветствия, и вошел в уборную. Выбрал самую дальнюю кабинку, закрылся. В полумраке раз-

вернул газету, торопливо перелистал ее, пока не нашел то, что искал. Календарь синагогальных служб находился на последней странице, в правом нижнем углу.

Предчувствие не обмануло его. Сейчас — сентябрь, пятница. Осенние праздники начинаются на следующей неделе.

Он посмотрел, на какой день приходится Йом Кипур. В кабинке было темно и тесно, но он, послюнив палец, перелистал газету еще раз, пробегая взглядом заголовки статей и подписи под ними. Встречались знакомые фамилии; главным образом это были бывшие сокурсники по Школе раввинов. Некоторые статьи вызывали в нем интерес, и он прочитывал абзац-другой. Кое-где морщился: ему всегда претил фамильярно-манерный тон, в котором газета и другая подобная периодика освещали всякие протокольные вести, юбилеи, семейные события. До войны и сразу после нее, когда он и сам печатался в еврейской прессе, еще были издания, для которых такой тон был неприемлем.

Он вздрогнул: в соседней кабинке зашумела спускаемая вода. Дождавшись, когда стукнет дверца и стихнет шум удаляющихся шагов, он сложил газету, сунул ее под мышку и вышел.

В газетном зале у стеллажа, куда он должен был положить газету, стоял коллега-преподаватель, занимающийся современной венгерской литературой; поэтому З. прошел мимо, к своему столу. Номер «Уй элет» он сунул под книги — и потом чуть не каждую минуту оглядывался: когда же можно будет вернуть газету на место? А пока, подняв очки на лоб, нервно массировал переносицу, вытирал вспотевшие виски, потом ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки… Углубиться в работу, пока не избавится от газеты, он был не в состоянии. Момент представился нескоро: пожилой профессор (З. считал его умеренным антисемитом), исследователь социографической деревенской литературы, сосредоточенно искал что-то в номерах журнала «Уй ираш», который лежал на стеллаже как раз рядом с «Уй элет». Наконец тот ушел; З. с нарочито небрежным видом отнес газету и облегченно сунул ее на прежнее место.

2

С тех пор как З. избрали действительным членом Академии наук и поручили заведовать кафедрой древней истории, он стал брать себе значительно меньше часов, сохранив за собой лишь чтение лекций. И еще от одной вещи он не смог отказаться — от спецсеминара, который несколько лет подряд проводил в одной и той же аудитории, строго в одно и то же время: в субботу, в восемь утра. Тема спецсеминара была одна: чтение и перевод ветхозаветных текстов.

Впервые он объявил эту тему осенью тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года; объявил — и сам удивился тому интересу, какой она вызвала. Год за годом к нему записывались по десять — пятнадцать студентов; он проводил среди них что-то вроде отборочных испытаний — и потом в течение двух семестров работал с самыми способными. Весной первого же года он с изумлением услышал от одного из коллег, тоже еврея по происхождению (тот позвонил ему домой и, словно для конспиративного разговора, назначил ему встречу в саду Каройи), что в университете уже ходят слухи о его «демонстрации» — недаром

же он выбрал такую тему после «шестидневной войны» и, если верить сплетням, после антисемитских чисток в Польше. З. чувствовал: собеседник тревожится скорее за себя, чем за него, однако за предостережение поблагодарил.

До сих пор он наивно считал, что хотя его прошлое (как и прошлое всех других) на учете, но за минувшие два десятилетия он сделал достаточно, чтобы к нему относились без предубеждения и подозрений. Еврейскую историю он рассматривал в своей научной работе исключительно как часть истории Древнего мира в целом, строго держась рамок, которые обозначены были учебной программой, утвержденной министерством.

Во всяком случае, после того разговора он стал более осторожным, даже подозрительным. Порой неприязнь к евреям он находил и в поведении тех, кто, не выходя за пределы своей узкой научной проблематики, просто произносил слово «еврей». Помучившись неделю-другую сомнениями, он решил в вопросе о субботнем семинаре не идти на уступки: ведь откажись он от заявленной темы, это было бы равнозначно признанию, что дело тут действительно не совсем чисто. Господи, когда он объявил этот злополучный семинар, ему в самом деле в голову не приходила ни арабо-из-

раильская война, ни антисемитская кампания в Польше, с беспомощной досадой возмущался он про себя. Хотя сами по себе события эти, конечно, его не оставили равнодушным и в душе он, конечно, переживал за Израиль, а скупые, но от этого еще более пугающие вести из Польши вызывали у него едва ли не физические страдания. Но тема, которую он выбрал, здесь ни при чем, это совершенно ни с чем не связано, твердо сказал он себе. Он был уверен, в его пользу говорит даже то обстоятельство, что, хотя нынешнее его положение позволяло бы это сделать, он не стал отказываться от субботних часов. И все-таки в определенных университетских кругах ходил слух: такое упорное желание заниматься Библией по субботам — некий знак протеста или, по крайней мере, дань ностальгии; хотя сам он уже лет двадцать считал, что с прошлым он расквитался, сохраняя и используя в нынешней своей научной работе лишь накопленные, тщательно просеянные, многократно отсортированные знания да диалектическое мышление.

Однако случай в библиотеке не выходил у него из головы.

3

Проведя утром в субботу, как обычно, свой семинар, во второй половине дня он просто не знал, куда себя деть. Даже жена обратила внимание, как часто он встает из-за письменного стола и бесцельно, неприкаянно бродит по комнатам. Работал он всегда методично, и подобное беспокойство было ему несвойственно. Ежедневно, по крайней мере, двенадцать часов были отведены на работу, не больше шести — на сон. Эту привычку, в основе которой лежали догматы из книги Шулхан Орух[2], беспощадно вбивал в него, с самого детства, с отроческих лет, отец, и З., только став взрослым, смог по-настоящему ощутить благодарность отцу; хотя первоисточник этого правила З. никогда не называл, кажется, даже себе. Чем меньше спишь, тем больше живешь и учишься, звучал у него в голове голос отца, и он чувствовал на лбу тепло отцовской ладони, когда-то будившей его на заре.

Воскресенье они с женой провели на озере

---

[2] Примечания: 2

Шулхан Орух (Накрытый стол) — кодекс правил жизни религиозного еврея (*иврит*).

Веленцеи. Надо было готовить дачу к зиме: в осенние месяцы топить домик было трудно, зябнуть там не хотелось, да и все труднее им становилось год от года таскаться на поезде с одеждой, продуктами и другим барахлом. Сидя на скамеечке, поставленной в ванну, и возясь с бойлером, чтобы спустить из него оставшуюся воду, он решил, что на уик-энд, на который приходится Йом Кипур, он не будет ничего планировать: просто ради того, чтобы не оказаться в затруднительном положении, если он вдруг надумает, что ему делать.

В понедельник он посмотрел в еженедельнике кафедры, что у него записано на те дни. Накануне Дня примирения он должен читать в Обществе по распространению знаний доклад о системах летосчисления, существовавших на Древнем Востоке; это он отменит через секретаршу. Со студентами, которые посещают его субботний семинар, поговорит на следующем занятии сам.

Он долго колебался, надо ли рассказывать жене, что за странные чувства его вдруг посетили. И в конце концов решил: пока он сам в этом не разобрался, лучше все держать про себя. Ему казалось, жена его не поймет. Честно говоря, он и сам точно не понимал, что с ним происходит. Он знал одно: ему очень хочется присутствовать

на празднике, хочется именно в этот день быть в какой-нибудь синагоге, а перед этим поститься, как постился когда-то… Было досадно немного, что он никак не может сформулировать, зачем ему это надо, почему ощущает необходимость воскресить обычай, который так долго, более двух десятилетий, не соблюдал. Его мучило, что он не может ответить на свои собственные вопросы; но поскольку никто не ставил их перед ним, ему легче было так и оставить их без ответа.

Жена его тоже преподавала в университете, на юридическом факультете, на кафедре буржуазного права. Ее родители еще в довоенные времена отдалились от иудаизма; правда, и выкрестами не стали, хотя им мешало сделать это скорее брезгливое отношение к приспособленчеству, чем какие-то принципиальные соображения. Когда она вспоминала детство, больше всего ей не хватало тогдашних рождественских праздников. После Освенцима у этой женщины не осталось близких… Сейчас они отмечали только свои дни рождения.

Познакомились они на каком-то университетском митинге в защиту мира. Очень быстро выяснилось, что семьи у обоих: родители, супруги, дети — не вернулись из концлагерей. У

женщины, правда, осталась племянница: она жила в Сольноке, вышла там за преподавателя, которого не интересовало, какой национальности у него жена. У З. после тысяча девятьсот сорок четвертого уцелел брат, но из лагеря он вернулся с туберкулезом, и полтора года, проведенные в санатории, не сумели его спасти. В те годы было немало таких, чудом выживших, которые, пытаясь забыть утраты, создавали «суррогатные семьи» и давали новым детям имена прежних, погибших… Правда, как обычно, со временем выяснялось: для лечения душевной травмы это редко служило надежным лекарством… З. и его будущая жена долго страдали от одиночества, не в силах найти никого, кто мог бы в какой-то мере заменить им утраты. Наконец им повезло: встретившись, они обрели друг в друге опору и понимание; хотя на пылкие чувства оба уже не были способны, тем не менее, когда через три недели после знакомства она перебралась к нему с двумя чемоданами скудных пожитков, оба знали: они заключили удачный союз.

К тому моменту З. уже бросил Школу раввинов. Она же училась на четвертом курсе юрфака, была секретарем партбюро курса. И при этом работала: надо было платить за комнату. Оба всей душой

верили в новый строй, который осудил нацизм и обещал людям светлые перспективы: им двоим, в частности, безопасность и спокойную научную карьеру.

Поженились они в декабре тысяча девятьсот сорок девятого; на регистрации присутствовали двое коллег с его стороны и несколько сокурсников — с ее. Он в своем тесном черном костюме одновременно потел и зяб. Когда регистраторша велела молодоженам надеть друг другу кольца, ему вспомнилась первая свадьба, состоявшаяся двенадцать лет тому назад, свадебный шатер, зардевшееся лицо невесты под фатой. У него вдруг перехватило дыхание, и, растерявшись, он попытался было надеть невесте кольцо на указательный палец, как принято по еврейским обычаям.

В начале пятидесятых они, затаив дыхание, следили, что происходит вокруг. Университет давал им некоторую защищенность; хотя преподавание было втиснуто в тесные идеологические рамки, оба, к счастью, в это время не занимали высоких постов, а потому и не были в фокусе пристального внимания. Он тогда еще не вступил в партию, а жена давно уже не была секретарем, так что никто их пока не трогал.

Осенью тысяча девятьсот пятьдесят шестого они с осторожным оптимизмом прислушивались к дискуссиям в Кружке Петефи, к требованиям развивать демократию; но после двадцать третьего октября почти не выходили из своей квартиры на улице Пожони. Доносившиеся звуки стрельбы повергали их в отчаяние; а после того, как стало известно о линчеваниях на площади Республики, они тоже пришли к выводу, что в стране происходит контрреволюция и надо готовиться к самому худшему.

За те страшные двенадцать дней им пришлось многое переоценить, передумать. Впервые после семилетнего перерыва он зашел в Школу раввинов, ничего не сказав об этом жене. Он сам точно не знал, что он хотел сказать новому директору: то ли предложить свои услуги, то ли просто выразить солидарность, мол, смотрите, на чьей я стороне в этот тяжелый момент. Ясно было одно: его встревожили вести (приходящие из провинции) о пока еще не слишком серьезных антисемитских выходках, и он хотел из компетентного источника знать, как сами евреи оценивают свое положение. Побеседовав с глазу на глаз, они с директором договорились, что через пару недель он придет снова, и тогда,

если ситуация того потребует, обсудят вопрос, не стоит ли ему, сохранив за собой университетскую должность, вернуться в Школу хотя бы почасовиком. Следующая встреча так и не состоялась; З. позвонил директору из уличного автомата и сказал: в данных обстоятельствах его предложение теряет смысл.

В декабре пятьдесят шестого для З. открылась еще одна перспектива: ему предложили занять освободившееся место бернского раввина. В письме, присланном через посольство Швейцарии, сообщалось: на этот пост его рекомендует директор Школы раввинов, а также колония венгерских евреев в Берне; кроме того, если захочет, он сможет вести преподавательскую работу на кафедре иудаики в Бернском университете. Предложение было более чем заманчивым, и он всерьез задумался над ним. Он знал, что будет достойно выглядеть в любом западном университете. Однако жена даже в самые тяжелые дни и слышать не хотела о том, чтобы уехать из Венгрии: ее научному росту эмиграция совершенно точно нанесла бы непоправимый урон.

Поэтому он ничего не сказал жене о полученном предложении. А в мае пятьдесят седьмого, все взвесив, написал заявление о приеме в пар-

тию. Он знал, что делает, знал, что этот шаг — обязательное условие продвижения по научной лестнице.

В тот понедельник, когда он принял решение насчет праздника Йом Кипур, вечером, как бы между делом, он сказал жене, что в конце следующей недели должен будет поехать в Печ, для участия в какой-то не слишком значительной конференции. Жена, в домашнем халате, сидела, поджав под себя ноги, в углу дивана; услышав, что говорит ей муж, она, не снимая сползших на нос очков, устало прикрыла глаза. Она привыкла, что муж не способен сказать «нет», когда его просят выступить перед более или менее широкой аудиторией и рассказать о древнем Израиле. Ну да, он далеко ушел от религии, которой отдал свои молодые годы (она никогда не могла понять, как религиозность совмещается в нем с сугубо рациональным умом, с натурой ученого), однако до сих пор считает своей миссией, своим долгом знакомить любую аудиторию, по возможности объективно, с историей и верой евреев. Она не могла, хотя бы про себя, не улыбаться, когда вспоминала единственную его фотографию, снятую вскоре после войны в Школе раввинов; он был на ней в одеянии и головном уборе священника:

видимо, снимок сделали на церемонии посвящения в раввины. «Вот она, клерикальная реакция, в полном боевом снаряжении», — смеялась она, когда фотокарточка попадалась ей на глаза, и муж, хмыкая, отмечал про себя, что, если бы речь шла не о нем, ее ирония вряд ли была бы столь мягкой.

Профессор смотрел на жену, на ее круглое, утомленное лицо с мальчишеской прической, ожидая, как она отреагирует на его сообщение. И когда она лишь кивнула и вновь склонилась над какой-то русской книгой по юриспруденции, он почувствовал облегчение. Все равно она ничего бы не поняла, только смутилась и растерялась бы, успокаивал он себя, оправдывая свою невинную ложь. И еще с минуту не отводил взгляда от этой женщины, на которой женился без любви и которая пошла за него без любви… однако они жили в такой гармонии, какую ему в семьях друзей и знакомых не довелось встретить ни разу.

В разговорах своих они не касались лишь одной-единственной темы: о том, как они жили до тысяча девятьсот сорок четвертого года.

4

За день до Рош а-Шона[3] он сидел в своем кабинете при кафедре, и вдруг его охватило волнение — такое же, как в былые годы, перед праздниками, когда время невероятно ускорялось и задачи, которые предстояло выполнить, казались все более трудными, до стремительно и грозно близящихся Дней раскаяния[4] почти невыполнимыми… Сейчас, однако, делать ничего не надо было; возможно, поэтому у него появилось ощущение, что ему чего-то не хватает.

В последний раз он переживал подобное состояние более сорока лет назад: перед каждым большим праздником вся семья была немного взбудоражена, словно перед серьезным испытанием. Что с того, что из года в год подготовка шла одинаково, все делалось вовремя и в соответствии с четкими правилами: в эти дни ими овладевало некоторое беспокойство, словно они

---

[3] Примечания: 3

«Голова года» — еврейский Новый год (*иврит*).

[4] Примечания: 4

Так называются десять дней между Новым годом и Судным днем: в эти дни, согласно традиции, выносится высший приговор каждому смертному.

боялись упустить что-то важное. Можно было не сомневаться, что лихорадочное напряжение это в конце концов закончится ссорой.

Дом их в городке Таполце был весь в суете: сестры помогали матери в закупках, в готовке, отец же с рассвета до позднего вечера горбатился в крохотной, два на два метра, сапожной мастерской, чтобы до праздника успеть выполнить все заказы. За работу он брался сразу после утренней молитвы; в те дни он трудился иной раз по шестнадцать часов в сутки, если даже сроки не поджимали. Человек он был простой, но с быстрым и цепким умом; если он и кривил иногда душой, то не в ущерб другим, если и допускал грехи, то только в мыслях. И наказывал себя за них тяжким трудом, который служил ему и искуплением, и способом примирения с собственной совестью. У него было много дочерей и всего один сын, его единственная надежда; он хотел обеспечить сыну человеческое существование, чтобы тому не пришлось сидеть в полутемной каморке, чиня чужую обувку. «Если у него есть способности, пускай учится. Пускай набирается всяческих знаний, не только религиозных, пускай едет в Пешт, если хочет. Пускай будет настоящим человеком и настоящим евреем; если станет неологом, тоже

пускай, лишь бы не горбатиться всю жизнь над этими чертовыми колодками», — рассуждал он однажды вечером, сидя за столом, после рюмки, а может, двух сливовой палинки, и скорее убеждая себя, чем споря с женой. Тихих возражений матери сын из соседней комнаты не мог разобрать, но сердитый голос отца слышал четко. «А если и осудят меня за то, что сын бреется и носит пиджак, то пускай, подумаешь, буду в другую синагогу ходить!» — повысил голос сапожник. До тех пор сын никогда не видел его пьяным…

Воспоминания вдруг хлынули из глубин сознания, захлестнули его. Профессор потянулся к телефону, чтобы позвонить жене; но рука с трубкой повисла в воздухе.

Он хотел поделиться с ней теми смутными чувствами, что так неожиданно спутали ему весь вчерашний день; но понял, что не в состоянии найти слова, которые скажет ей. Ей, кого он ценит и любит; ей, кто заменил ему всех, кого он потерял, и помог вновь найти самого себя; ей, кто был рядом с ним в годы страха, когда они не знали, кому угрожает бóльшая опасность: ему ли, одному из немногих молодых преподавателей в университете, кто еще не состоял в партии и не вступал в нее вплоть до тысяча девятьсот пятьде-

сят седьмого года, или ей, после Освобождения с энтузиазмом и пламенной верой участвовавшей в коммунистическом движении, где никто не спрашивал, какой ты национальности и какую веру исповедовали твои родители, движении, которое собиралось раз и навсегда зачеркнуть прошлое, отряхнуть его прах с наших ног, и потому ей казалось, что она нашла свое место в мире; это потом выяснилось, что она лишь сменила одни путы на другие. Сколько раз, в пятьдесят первом — пятьдесят втором, она приходила в слезах, после партсобраний с унизительными разбирательствами, вынесением строгих выговоров и исключениями, и почти в истерике твердила: с нее довольно, довольно, не желает она больше топтать жизнь других людей…

Он положил трубку на рычаг. Сейчас ему нечего было сказать жене. Во всяком случае, ничего такого, что было бы для нее приемлемо и понятно: ведь если он сам себе не может объяснить, что чувствует, то что он может сказать жене, для которой еврейство — это всего лишь то (как она сообщила ему сразу после их знакомства), из-за чего была истреблена ее семья, из-за чего были убиты ее первый муж и ее ребенок.

«Кал ве-хомер» — вдруг вспомнился ему один

из основных талмудических принципов: от меньшего к большему, от легкого к более трудному. Если он хочет, чтобы жена его поняла или хотя бы почувствовала, что он переживает сейчас, то сначала он должен понять самого себя…

Когда он вышел из кабинета, секретарша испуганно спросила его, все ли с ним в порядке, он такой бледный. З. только кивнул, мол, все в порядке, взял с вешалки свой плащ и вышел в коридор. Навстречу попадались коллеги, студенты, здоровались с ним; он отсутствующим взглядом смотрел мимо. Спустившись по лестнице, вышел на набережную, двинулся к мосту Свободы, перешел на другой берег Дуная и по извилистым дорожкам стал подниматься на гору Геллерт.

На одной из площадок, выходивших к Дунаю, он сел на скамью, вынул носовой платок с вышитой монограммой, протер очки. И попытался привести в порядок свои мысли.

Четверть века он прожил, не ощущая ни малейшей необходимости отмечать еврейские праздники, делать или не делать что-либо в соответствии с еврейской традицией, — в противоположность тому, как он жил до войны и какое-то время после; хотя после — убежденности в нем уже не было, оставались лишь горе,

упрямство да остатки верности себе.

Осенью тысяча девятьсот сорок пятого, когда он вернулся из плена и узнал, что отец, мать, сестры, жена, семилетний сын, пятилетняя дочь — все бесследно сгинули в черной дыре, которую можно назвать одним словом: «Освенцим», в нем словно что-то оборвалось. Он преподавал в возобновившей занятия Школе раввинов, читал лекции в педучилище, начал несколько научных работ, писал статьи, находя вдохновляющие примеры в еврейской истории, которая после очередной катастрофы всегда начиналась заново; но сам он воодушевления не чувствовал. Религиозно-правовая тематика, увлекавшая его перед войной, теперь перестала его занимать. Горечь и протест, которые овладевали им, когда он думал о Боге, обратили его научные интересы к богоборцам, которых в древней истории евреев было немало. Он стал писать о них, об их метаниях, их одиночестве — в то время как, в соответствии со своей должностью и служебным долгом, работая в возрождающихся учебных заведениях, пытался вселить веру и жажду знаний в тех подростков и молодых людей, у которых знаний было еще слишком мало, чтобы они служили опорой их вере, вера же получила от пережитого не меньший

урон, чем у него.

Три года он, стиснув зубы, стремился не только обогатить их знаниями, но и раздуть в их душах огонь, хотя в нем самом не осталось ничего, кроме вопросов и сомнений. То, что они пережили, не умещалось в ряду тех катастроф, которых было так много в еврейской истории. Холокост можно было поставить рядом разве что с разрушением Храма. Он не мог избавиться от мысли, что Всевышний, если Он все-таки существует (сам З. в это уже не верил), на сей раз действительно отвратил лик от Своего народа и разорвал Свой завет с ним: ведь большинство евреев отвергло Его законы… Во всяком случае, за эти три года его вера тоже была перемолота, стала пылью. Всё тщета, всё суета сует, готов был он повторять каждый день, но позволить себе такого он не мог. Лгать же ученикам не хотел тоже…

Он сидел на скамье, глядя вниз, на Дунай, на город; проходившие мимо парочки, группы туристов и просто зеваки бросали на него взгляд, и в глазах у них появлялось некоторое удивление, даже сочувствие, хотя одет он был в безупречный серый костюм с белой рубашкой и галстуком. Плащ только, может быть, помялся немного… Они словно чувствовали, что в душе у этого со-

лидного, интеллигентного человека творится черт знает что… Он нервно курил сигарету за сигаретой, пока пачка не опустела; он смял ее и выбросил. Потом все же нашел в кармане еще одну сигарету — и, закурив, тлеющим кончиком стал чертить круги в густеющих сумерках.

Тогда, весной тысяча девятьсот сорок девятого, он тоже долго терзался и колебался. Принять решение было далеко не так просто, как могли подумать те, кто его знал. Утром сотворить молитву в Школе раввинов, потом толковать слушателям Исаию, а на следующий день с непокрытой головой прийти в университет — и все то, что наполняло его жизнь до сих пор, все, из чего до сих пор он должен был черпать — хотя бы для своих учеников — веру и самосознание, представить, как ничего не значащий эпизод, как замшелую догму, как некую окаменелость, по какому-то недоразумению дошедшую из древности до сегодняшних дней.

Напрасно пытался он относиться к своему уходу из Школы раввинов как к банальной смене работы, как к одному из поворотов на извилистом карьерном пути: он догадывался, что́ об этом думают окружающие. Напрасно он убеждал себя, что в конце концов поступает в согласии с духом

традиции: ведь сосредоточенность на Торе, без наличия какого-либо мирского занятия, которое служило бы пускай лишь источником пропитания, отрывает тебя от земного мира; по мнению мудрецов, если человек занимается в меру и тем, и другим, это достойно лишь похвалы. В глубине души З. прекрасно понимал, что эта сугья[5] на его случай не распространяется. Должность раввина для тех, кто ее занимал, и прежде была в общем-то источником пропитания, а вовсе не жизненным призванием, говорил он себе, в то же время зная: соображения эти, возможно, неопровержимы, и тем не менее, покидая Школу раввинов, он поворачивается спиной к тому сообществу, членом которого был до сих пор, и решением своим навсегда отлучает себя от еврейства.

Среди всех, кого он знал, был один-единственный человек, с которым он мог и с которым должен был поговорить об этом, — коллега, друг и соперник в одном лице. Человеку этому он доверял, как себе самому; ему можно было перед принятием важного решения открыть душу, рассказать, что за конфликт вот уже несколько месяцев терзает его все более нестерпимо. На них

---

[5] Примечания: 5
Тезис Талмуда (*иврит*).

обоих в то время смотрели как на реальных кандидатов на место руководителя Школы раввинов, которые лишь друг с другом могут помериться научным весом и основательностью знаний.

Тогда они тоже пришли сюда, на гору Геллерт, и гуляли по дорожкам несколько часов. И хотя это вовсе было не в его натуре, З. говорил беспрерывно. Слова просто лились из него, и коллега, сам человек ученый, к тому же практикующий раввин, — почувствовал: его пригласили сюда не как оппонента, а скорее как свидетеля в споре, который З. вел с собственной совестью. Свидетеля, который должен засвидетельствовать его правоту.

А З. говорил, что уже не способен верить в то, что доказывает студентам на лекциях и о чем пишет в статьях. Да, появление государства Израиль вселяет в него надежду; да, он чувствует: если Провидение еще играет какую-то роль в мире — а в этом он, З., после Холокоста сильно сомневается, — то роль эту можно узреть как раз в появлении этого государства. Но бросить все и уехать туда он не может; или не хочет, что, в сущности, все равно. Эта двойственность угнетает его; не дает ему покоя и то, что в нынешних условиях он все менее эффективно использует

свои способности, так как сфера еврейского образования сужается день ото дня. Отсутствуют авторитетные научные форумы, где они могли бы печататься, выступать с докладами; все сильнее идеологическое давление, оказываемое на религиозную жизнь и ее институты. Энергично жестикулируя, он говорил: вот, ему уже за тридцать, а у него никого и ничего нет, кроме накопленных знаний; и коллега знал, что это — чистая правда. В таком случае грех ли, спрашивал З., широко разводя руками и глядя коллеге в глаза, если он возьмется за углубление своего филологического и исторического научного багажа и начнет преподавать в светских заведениях?

Он точно помнил, что ответил ему коллега. Даже теперь, спустя десятилетия, в ушах у него звучали его слова: «Вероятно, ты ждешь от меня искреннего ответа. Ты — не Элиша, а я — не рабби Меир[6]. Ты не стал неверующим, даже если вера твоя и пошатнулась: она никогда не была свободна от сомнений, как и моя, впрочем. Так что ты не Бога собираешься оставить, а общину. Несчастную эту общину, которая сейчас, пожалуй, как никогда нуждается в простых пастырях,

[6] Примечания: 6

Элиша бен Абуя — законоучитель Мишны, утративший веру. Рабби Меир — его ученик, который попытался вернуть учителя к вере.

утешителях… Но могут еще наступить времена, когда для таких умов, как ты, снова найдется пространство для действия, снова возникнет достойная цель». Вот так ответил коллега, вежливо и несколько сдержанно, хотя видно было, что он имеет в виду и себя. «Ты можешь стать выдающимся историком религии, но если на то, чему до сих пор служил душой, ты будешь смотреть извне, изменится не только точка зрения. Не жди от меня одобрения, но и не жди, что я стану тебя переубеждать. Ты принимаешь очень серьезное решение, но само по себе это, конечно, не грех. Во всяком случае, в том значении, которого ты боишься… Теперь по крайней мере, — сощурился он по своей характерной привычке и положил руку на плечо З., который напряженно слушал его, чувствуя уже, что тот собирается разрядить напряжение шуткой, — люди перестанут судачить, кто из нас станет преемником».

Коллега говорил серьезно, потом свел разговор к шутке; З. так и не понял, а потом никогда не мог набраться духу спросить, не была ли шутка эта вполне серьезным подтверждением того, что тот действительно испытал облегчение, узнав, что теперь у него не будет соперника. Эпизод этот коллега никогда не упоминал; не упоминал даже

восемь лет спустя, после того как достиг своей цели, возглавив Школу раввинов; случилось это в декабре тысяча девятьсот пятьдесят шестого, когда прежний директор уехал в Вену, а оттуда перебрался в Западную Германию.

Они всегда ревниво следили за успехами и продвижением друг друга. Не было такого журнала, где, если публиковался один, тут же не спешил бы напечататься и другой. Уже с конца тридцатых годов на них смотрели как на двойную звезду на небосводе еврейской науки. Оба считались достойными кандидатами на пост директора Школы, пост, который с тысяча девятьсот сорок седьмого занимал профессор-талмудист, человек старой закалки, закончивший в свое время традиционную ешиву; оба высоко ценили его познания, однако, видя, что он лишь преподает, а особых научных амбиций у него нет, считали себя, пусть и молча, более достойными претендентами на руководство Школой.

Но если на мнение коллеги и оказали какое-то влияние карьерные интересы, обиды З. к нему не испытывал. Он даже был благодарен за то, что тот снял с его души мучительный груз самообвинения в неверии, на десятилетия вооружив его аргументами против появляющихся иной раз

угрызений совести. В каком-то смысле именно этот друг и коллега открыл ему путь к университетской и академической карьере, путь, на котором за четверть века он как ученый достиг максимальных результатов.

Хотя они и прежде время от времени писали работы в соавторстве, настоящее научное сотрудничество сложилось между ними после того, как он ушел из Школы раввинов. Теперь они были не соперниками, а равноправными, дополняющими друг друга партнерами, — пока не стало очень уж сильно колоть глаза, что профессор университета, академик, в своих работах, которые часто публиковались за рубежом, сотрудничает пусть с солидным ученым, но все же, как ни крути, церковным деятелем, раввином. Общие статьи появлялись все реже, но они по-прежнему не теряли друг друга из виду, посылая друг другу свежие оттиски. Они сотрудничали в исследовании рукописей Генизы[7]: раввин занимался гебраизмом рукописей, а на долю З. выпало изучение арабских элементов. Во всяком случае, так считали в университетских кругах, и З. это вполне устраивало.

---

[7] Примечания: 7
Фрагменты древних рукописей на иврите.

5

Внезапно (или ему показалось, что внезапно) хлынул дождь. Он встал со скамьи, посмотрел на часы и не поверил своим глазам: дело шло к вечеру. Сердце у него бурно колотилось. Он торопливо спустился с горы и перед гостиницей «Геллерт» поймал такси.

З. не помнил, случалось ли с ним когда-нибудь, чтобы он не пришел домой вовремя. Если ему приходилось задержаться где-то хотя бы на четверть часа, он обязательно звонил домой, чтобы жена не беспокоилась зря; она тоже придерживалась этого правила. Это была не просто условность, проявление вежливости: в подобных случаях их привязанность друг к другу переходила в какую-то истерическую тревогу, воображение рисовало им самые жуткие варианты всякого рода несчастий. Они даже ссорились из-за этого — после того как ситуация прояснялась и они вздыхали с облегчением.

Однажды, в середине шестидесятых, они были в групповой поездке в Кракове, и вследствие некоего дурацкого недоразумения (кажется, гид купил меньше билетов, чем требовалось) шофер

туристического автобуса, вспылив, поехал прямо в управление городской полиции; там они втроем: шофер, гид и З., отправились выяснять отношения, а дверцу автобуса с недоумевающими пассажирами водитель закрыл. Потом З. узнал: через несколько минут после того, как он вошел в подъезд, где стояли на часах двое стражей порядка, жена вдруг разрыдалась и стала рваться из закрытого автобуса, на ломаном немецком крича: «Wo ist mein Mann?! Wo ist mein Mann?!»[8] Слава Богу, шофер вернулся в автобус за документами и, испугавшись, позвал З. Когда он вышел (до этого момента он, ни о чем не подозревая, болтал по-русски с дежурным офицером) и они оказались вдвоем, жена, все еще дрожа от пережитого, стала выговаривать ему: как он смеет оставлять ее одну, как он мог допустить, чтобы их *разделили*?.. Сначала он растерялся и лишь потом сообразил, что с ней творится. Как он сам для себя сформулировал, кричала не она: это Освенцим кричал из нее. З. находился в двух тысячах километров оттуда, под Давыдовкой, когда его мать и двоих сыновей от первого брака послали в газовую камеру, а из рук его нынешней

---

[8] Примечания: 8
Где мой муж?! (*нем.*) (*Примеч. переводчика.*)

жены вырвали полуторагодовалую дочку, которую она никогда больше не видела.

Он обнял жену, пытаясь утешить, успокоить, но она лишь твердила, что ни минуты больше здесь не останется. На другой день они вернулись домой.

Все это вспомнилось ему сейчас, когда он стоял у двери, в насквозь промокшем плаще, не зная, как объяснить, что́ он, собственно, делал столько времени и почему не позвонил, если уж ему захотелось ни с того ни с сего посидеть на горе Геллерт. Ему даже пришлось выслушать спрятанные под иронией подозрения (впервые, кажется, в жизни): уж не завел ли он, на старости-то лет, интрижку? Впрочем, в этих полусерьезных словах не было ни ревности, ни обиды, а лишь та же подсознательная паника: милый мой, если ты идешь к другой женщине, то хоть позвони, чтобы я тебя не ждала напрасно.

Он лишь устало махнул рукой и попросил прощения. И невнятно пробормотал: слишком много проблем на работе, все запуталось, но это в общем ерунда, уладится как-нибудь, просто он с трудом стал переносить дрязги, которых всегда было много на кафедре. Жена от таких объяснений лишь сильнее встревожилась, да к тому же еще

и обиделась. Она сказала, что боится за него: в этом возрасте, когда угроза инфаркта висит над каждым, опасно принимать неприятности так близко к сердцу. Обиделась же она потому, что он не захотел делиться с ней тем, что его тревожит.

На восстановление мира ушел весь вечер. Он признавал, что ее беспокойство оправданно, и корил себя за невнимательность. Однако воспользоваться случаем и рассказать, что его гнетет, он так себя и не смог заставить.

6

На следующий день, возвращаясь из библиотеки домой, он остановился у зеленной лавки, раздумывая, не купить ли ему яблок, меда и моркови, без которых нет новогодней трапезы. В конце концов он от этой идеи отказался.

И все-таки после ужина он не выдержал и пошел в кладовую — поискать мед. Жена, услышав грохот, сказала: если ему что-нибудь нужно, пусть спросит у нее, а не устраивает беспорядок. Скрепя сердце он объяснил, что такой у них был обычай: встречать Новый год с медом и яблоками. Жена, качая головой, сказала что-то про старческие причуды и замшелые суеверия, но не стала упорствовать и принесла из кладовой горшочек с медом.

Потом, сидя один в кухне и обмакивая кусочки яблока в мед — чтобы подсластить следующий год, — он испытал какое-то детское удовлетворение. Сочетание кисловато-терпкого вкуса и густой сладости во рту вдруг живо воскресило в нем атмосферу далекого детства.

Однако настоящим праздником для него были в детстве не торжественные, таинственные и

почему-то (может быть, потому, что их называли грозными) пугающие дни перед Йом Кипуром, а — Сукес, когда во дворе дома в Таполце сооружался крытый камышом шатер. Внутри висели цветные картинки с изображениями Иерусалима и Храма, виноградные грозди, яблоки; в шатре совершали вечернюю трапезу. Отец давал маленькому З. отпить вина из своего бокала; ароматы вина, медового бархеса, рыбного заливного, фруктов и, как ему еще помнилось, гвоздики, которая, кажется, должна была символизировать землю Израиля, смешивались с сырой дымкой осеннего вечера. В это время часто шли дожди, вода текла через камышовую кровлю, и они на время кидуша[9] прятались в угол, где еще было сухо. Двадцать лет спустя, когда уже дети З. пригубливали вино из его стакана, в шатре, увешанном фруктами, ему чудился тот же пряный гвоздичный запах; но это было в Пеште, на улице Чаки, во дворе доходного дома, где стояла и синагога…

А в следующий момент, как он ни силился этого избежать, в памяти его всплывали (и так было каждый раз, когда он думал о детях) кадры аме-

---

[9] Примечания: 9
Освящение праздника (*иврит*).

риканской кинохроники, снятые осенью тысяча девятьсот сорок пятого, в дни вскрытия массовых захоронений в окрестностях Освенцима: ямы, доверху набитые детскими трупами.

Он тогда сидел в темном зале кинотеатра «Аполлон» и молился сразу о двух вещах: чтобы не обнаружить в этом страшном месиве своих детей — и чтобы еще раз увидеть, узнать, возможно, сохранившиеся черты. Сотрясаясь от безмолвных рыданий, стискивал он подлокотники кресла. Именно там, в кино, он сказал Богу «нет». Себе же он никогда не мог простить, что, перед тем как уйти на фронт, послал жену с малышами к своим родителям, в Таполцу, считая, что там они будут в большей безопасности.

Отодвинув тарелку, он медленно дожевал яблоко. Никаких ароматов он больше не чувствовал — только кисловатый вкус яблочной мякоти.

7

Субботним утром, в обычное время, его студенты сидели на диване в его кабинете при кафедре. В этот раз он читал и переводил с ними отрывки из Екклесиаста.

Один из учеников, будущий археолог, изучал иврит скорее из любопытства. Второй готовился стать историком Древнего мира; обладая незаурядными способностями и большим запасом познаний, он часто и в самое разное время приходил к профессору за консультациями, и тот, хотя его несколько тяготила такая назойливость и смущали длинные неопрятные волосы и всклокоченная бороденка юноши, терпеливо, отдавая должное таланту и упорству, помогал ему. Третьей в группе была девушка, чья фамилия бросилась ему в глаза еще в списке претендентов: это была фамилия семьи, из которой вышло немало известных раввинов. После первого же занятия он осторожно расспросил ее: действительно, она была из той самой семьи. Он слышал, что даже в пятидесятые годы семья жила в соответствии со строгими правилами ортодоксального иудаизма; однако девушка, которая всегда носила юбку, к

участию в субботних семинарах относилась без тени недовольства. На первом же коллоквиуме он поставил ей неуд, а потом, увидев слезы у нее на глазах, не нашел ничего лучшего, как сказать, что был строг с ней в ее же интересах, ибо дальнейший ее путь должен строиться на прочной научной основе. Он сознавал, что, не будь она еврейкой и не носи эту фамилию, он со спокойной совестью оценил бы ее знания как удовлетворительные. Но слишком сложно было бы объяснять этой девушке в круглых очках и с вызывающе (в его глазах) мальчишеской стрижкой, что́ заставляло его так вести себя по отношению к ней. К переэкзаменовке девушка подготовилась блестяще. После второго вопроса он взял ее зачетку и вписал тройку. И потом несколько недель не мог забыть ее растерянных глаз, в которых смешались страх, недоумение и гнев.

В начале учебного года студентов на семинаре, как обычно, собралось довольно много; уже к середине первого семестра значительная часть их отсеялась. Но даже несмотря на то, что несколько оставшихся встречались регулярно, на семинаре не сложилось той доверительной, почти дружеской атмосферы, какая обычно характерна для отношений между преподавателем и студентами

в таких маленьких коллективах и располагает к обмену мыслями и за пределами учебного материала. О будущем археологе З. не знал совсем ничего, и если с другими двумя у него все же возник какой-то личный контакт, то к археологу он испытывал лишь смутное недоверие. В течение года тот не проявлял заметной активности, и, хотя к экзаменам он готовился добросовестно, его постоянное присутствие на занятиях ничем нельзя было объяснить. Возможно, это просто моя болезненная подозрительность, успокаивал себя З., но невольно стал еще тщательнее следить за каждым своим словом, произносимым во время занятий.

На этом занятии получилось очень кстати, что девушка сама заговорила о следующей субботе, сообщив, что не сможет прийти. Ах да, вот хорошо, вы мне напомнили, хлопнул себя по лбу профессор, у меня ведь тоже кое-какие срочные дела, так что давайте перенесем нашу следующую встречу…

Его немного смутил испытующий взгляд девушки. В ее округлившихся глазах читалось: интересно, что за такие дела обнаружились у профессора. Но невысказанный вопрос ее остался без ответа; как, впрочем, остался бы без ответа,

будь он и высказанным… Они договорились, что через две недели постараются найти удобный для всех день и час, чтобы наверстать пропущенное.

8

Утром в понедельник он на ходу сказал секретарше, жующей бутерброд, что конец недели проведет за городом, субботний семинар отменил, а если кто-нибудь станет его искать, пускай потерпит до понедельника. Секретарша, дама четкая и исполнительная, хотя и грубоватая немного, равнодушно кивала, двигая челюстями, и это слегка его отрезвило. Кажется, он излишне серьезно относится к конспирации. Кому какое, собственно, дело, если его два дня не будет?

Он вышел из здания филфака на улице Пешти Барнабаш и пешком отправился в университетскую библиотеку, где планировал работать всю эту неделю. Ему предстояло отредактировать для переиздания свою книгу по Древней истории, вышедшую почти десять лет назад. В читальном зале у него было свое постоянное место, там он и устроился.

За минувшие годы ему редко случалось написать что-то такое, чего он позже стыдился бы. Он не без оснований полагал, что если выбросить ссылки на Маркса и Энгельса, которые любой исследователь вставлял в свои работы столь же

добросовестно, как и он, то ход его рассуждений от этого нисколько не пострадает и нормальный читатель все прекрасно поймет. Однако он часто испытывал потребность как-нибудь, чем-нибудь дополнить свой привычный способ смотреть на жизнь, способ, который, конечно, был для него органичен, как собственная кожа, и потому он не мог просто сменить его, как сменил в свое время одеяние раввина на пиджак и галстук. В одной из критических статей на его книгу этот способ видения был охарактеризован так: «Даже анализируя политеизм античных греков, автор не в состоянии освободиться от своих методов, скажем даже, пристрастий, которые подходят для монотеистических религий». Поэтому З. так старательно обходил ту область своей научной деятельности, в которой специализировался до тысяча девятьсот сорок девятого года; более того, избегал даже в сносках ссылаться на свои публикации того времени. И поэтому так упорно — может быть, слишком упорно — держался за цитированные-перецитированные марксистские источники, за идеологические аргументы исторического материализма, поэтому неоднократно утверждал, что отдельной истории религии нет и не может быть, что сфера эта «может исследовать-

ся лишь в контексте общей истории развития общества и общественного сознания».

Ему казалось, от него ждут чего-то большего, что он должен высказывать мнение более открыто и однозначно; поэтому он последовательно отступал в этом вопросе, пересматривая свои прежние взгляды. Он знал, что не прав, но не обижался на критиков: ведь они отстаивали как раз ту позицию, которую он и стремился занять. Во всяком случае, эти свои работы он бывшему коллеге в Школу раввинов уже не посылал; а с начала шестидесятых годов, когда его избрали действительным членом Академии наук, ни разу больше не выступал с ним в соавторстве; да и тот, если им случалось столкнуться где-нибудь — например, в бассейне, — тактично не заводил речь о его последних научных достижениях…

Сейчас, сидя в библиотеке, он никак не мог сосредоточиться на работе. В голове постоянно крутилась мысль: если кто-то, кто-то такой, кому он не может ответить, как не может ответить себе самому, — если этот кто-то спросит его, как объяснить столь резкий поворот в его мышлении, в его жизни, — то где он возьмет объяснение? Он нервничал. Чувствуя, что работа не идет, он погасил настольную лампу, откинулся в кресле

и закрыл глаза. Сидя, он слегка покачивался вперед-назад, вперед-назад. Так с ним бывало всегда, когда он, впав в рассеянность, забывал следить за собой. Но факт тот, что ритмичные, едва заметные движения тела помогали ему успокоиться.

Да нечего тут объяснять, вспомнился ему бывший коллега по Школе раввинов. «Ты — не Элиша», — прозвучали в голове слова… Значит, тот все-таки счел возможным сравнить его с еретиком, отрицающим Бога. З. вспомнил, что пишется в Талмуде: «И все это откуда у него?.. Оттуда, что он видел язык рабби Иегуды Пекаря, в пасти пса, который как раз лакал кровь. Он сказал: это Тора, и это ему награда?! Это язык, который произносил слова Торы так, как нужно?! Это язык, который каждый день трудился над Торой?! Это Тора, и это его награда?! Стало быть, нет правды в мире и нет возмездия после смерти». Фразы эти всплыли из глубин его сознания вдруг и сразу, будто он читал Талмуд ежедневно.

Подобно Элише, он тоже утратил веру. Вот только если бен Абуя, переживая после учиненных Адрианом преследований глубокий душевный разлад, пытался других убедить, что нет смысла жить по Закону, то он, З., сделал этот вывод только для себя самого. И все же, читая лекции

студентам, публикуя научные труды, он, плохо ли, хорошо ли, распространял, передавал эти свои взгляды и другим, да и его личная жизнь служила в этом смысле неоспоримым примером; так он то оправдывал, то обвинял себя. Если Бога нет, если есть только мир, если есть только человек и его беспредметная вера, то именно так и следует умножать и передавать это знание далее, ибо оно сделало мир таким, а значит, только владея им, можно и нужно жить, ориентироваться, находить себя в этом мире.

Он знал: многие до сих пор уверены, что от еврейства он отвернулся исключительно из карьерных соображений. Если бы в нем оставалась хоть частица той веры, того сознания своей миссии, которые пылали в нем до войны, едва ли он был бы способен совершить такой поворот. Но несколько лет метаний и поисков, несколько лет работы, выполняемой без убеждения, показали: нет, не идет, не получается, да и не может получиться. После того как вера его была уничтожена, он логическим путем хотел свести счеты с Богом, который бросил свой народ в беде, который позволил убить миллион невинных детей. В том числе его детей: сына и дочку… Он ненавидел слово «Холокост», которым с удоволь-

ствием пользовались западные историки в своих работах об истреблении евреев. Его коробило от этого выражения, в точном значении которого, «жертва всесожжения», для него существенную роль играло лишь то, что с его помощью послевоенное поколение в отчаянии своем пытается придать некоторый смысл простому множеству страшных фактов, ибо оно, это поколение, неспособно посмотреть в лицо реальности, не смеет заглянуть в темную бездну, что зияет в душе человеческой. Оно, это поколение, обманывая себя, пытается найти катарсис в механическом движении конвейера истории, где нет и намека на искупительное прозрение, на очищение. Смысл священной жертвы — в том, чтобы добиться от Бога прощения за грехи; но разве можно представить такой человеческий грех, во искупление которого Всевышний потребовал бы миллион детских смертей? Следовательно, существующий Бог не может иметь к этому отношения.

Да, если угодно, он и сам теперь — Элиша бен Абуя… З. стиснул зубы с такой силой, что они заныли… Да, ибо на злодейство, которое совершил мир, бросив на произвол судьбы народ, народ, к которому принадлежит З., на злодейство, которое уничтожило остатки его, З., веры, он, З., ответил

тем, что отрекся от Бога. Кто посмел бы осудить его за это? Разве что несуществующий Бог.

Он так резко вскочил с места, что грохот отъехавшего кресла прозвучал в тишине зала как гром. Читатели вскинули головы и обернулись к нему. З. на мгновение замер, смущенно стал приводить в порядок свои бумаги, потом, оставив все как есть, торопливо направился к выходу. Он чувствовал, как бешено колотится сердце… Не зная, что делать, он зашел в туалет. Расстегнул ширинку, стал мочиться. Его взгляд упал на обрезанный пенис… И в этот момент до него дошло: ведь он только что занимался не чем иным, как спорил с Богом. С Богом, в которого не верил. Спустя почти тридцать лет он вернулся туда, откуда с таким трудом вырвался.

Если нет искупления в небесах, оно должно быть где-то в ином месте. Если такая страшная судьба постигла народ, которому дан был обет искупления, обет, во имя которого народ этот жил и страдал в своей верности Богу, — то вообще не может быть народа, который обрел бы искупление сам в себе. А значит, надо положить конец разъединению, надо самого человека сделать способным к тому, чтобы он понял, осознал, что грозит ему, если он не откажется от своего

эгоизма, не откажется от идей национального или классового превосходства…

Он неуверенной походкой вышел в коридор, постоял, прислонившись к стене. Неужели все так просто? Неужели так просто объясняется, почему он стал таким, каким стал? Верил ли он по-настоящему когда-либо во что-либо, если так легко принял подобную чушь? Если верил, то, видимо, верил лишь в знание, в возможности разума; но после зимы близ Давыдовки, после того, как он насмотрелся на зверские нравы в трудовых батальонах, после того, как погибла его семья, он уже не мог верить в то, что человеческую природу, с ее врожденной тягой к жестокости, к бесчеловечности, можно как-нибудь существенно изменить… Верить не верил, но всегда надеялся…

К нему подошел немолодой библиотекарь, взял его под локоть, спросил, все ли в порядке… Может, он плохо себя чувствует? У З. появилось смутное ощущение: кажется, этот вопрос он слышит не первый раз за последние дни, но и сейчас не может ответить на него. Он сказал: спасибо, все хорошо. А что он еще мог ответить? Что ему тошно, потому что его солидный научный багаж — не более чем безуспешная попытка зачеркнуть свое прошлое? Что раскрашенных,

как ярмарочные куклы, богов Древнего Востока он пытался противопоставить Единому? Что мишурой оказались знания, все постигнутые частичные истины, мишурой оказались заслуги, чины и ранги, международный авторитет — мишурой, потому что во всей своей очевидности проявилась несостоятельность главной посылки, стоящей за всей его научной деятельностью? Что тщетно собирал он аргументы и контраргументы, существующие в мире: для того, что он хотел доказать себе самому, вопреки себе самому, всего этого — недостаточно.

Отказавшись от помощи, он направился в читальный зал. Идти было тяжело. Он чувствовал себя усталым, разбитым, ноги словно налились свинцом. Его знобило, к горлу подступала тошнота.

Он на такси добрался домой и лег. И очнулся от глубокого, обморочного сна, лишь когда вернулась домой жена. Увидев, в каком он состоянии, она перепугалась, поставила мужу градусник — и тут же бросилась звонить врачу, их приятелю. Кроме редких простуд, он никогда ничем не болел, а тут вдруг — почти тридцать девять!

Осмотрев его, доктор недоуменно хмыкнул. Никаких симптомов, которые позволяли бы

поставить диагноз. Когда жена вышла из комнаты, доктор, бывший товарищ З. по трудовым батальонам, спросил, нет ли у него проблем с простатой: может быть, скрытое воспаление? З. отрицательно покачал головой. Тогда остается одно — переутомление, решил врач, нельзя столько работать. Чудес ведь не бывает, пожал он плечами, вколов ему жаропонижающее. Когда тебе за шестьдесят, организм протестует против перегрузок. Необходимо отдохнуть, избегать любого напряжения. Вряд ли тут что-то серьезное, но через неделю не повредит сделать анализ крови и ЭКГ. Загляни в клинику, когда будешь проходить мимо, сказал врач с деланной небрежностью.

В прихожей, провожая его, жена профессора заплакала; доктор не слишком убедительно улыбался, махал рукой, дескать, для паники никаких причин, но с обследованием лучше не затягивать. Говоря это, он ласково взял руку женщины и погладил ее; это несколько успокоило хозяйку. Она торопливо выпроводила его, закрыла дверь и вернулась в спальню, но муж уже снова заснул.

9

Утром температура была нормальной, тем не менее он чувствовал слабость и остался в постели. Работать не хотелось; он с удовольствием полистал несколько книг, взятых с полки. Такое случалось редко: обычно он читал быстро и целеустремленно, назначая себе дневную норму.

В среду он встал, но из квартиры не выходил. А в четверг, как жена ни умоляла его, отправился в университет; правда, в основном для того, чтобы купить билет на поезд и заказать в турагентстве гостиницу на две ночи. Билет он взял на скорый до Мишкольца, а номер заказал в мотеле, который, как ему сказали, находится почти в центре города.

Когда он после ужина собирал чемодан, жена пыталась отговорить его от поездки. Сколько он ни доказывал, что у него все прошло и он в полном порядке, она не могла успокоиться. Он даже с некоторой наигранностью спросил, не хочет ли она проверить, в какой он хорошей форме; жена удивилась и нервно отвергла его притязания. Ее тревожила непривычная веселость мужа, его странное поведение, тем более что близость их в

последнее время случалась редко, раз или два в месяц, и всегда по ее инициативе.

Утром, перед тем как уйти на работу, она попросила оставить ей телефон гостиницы в Пече: она позвонит ему во время конференции. Ему пришлось ответить, что в приглашении номер телефона не указан, но он обязательно позвонит вечером сам.

До вокзала он добрался на такси. На этот поезд места в билете указаны не были, но, к счастью, он приехал рано и занял место у окна, лицом по ходу движения. До отправления оставалось полчаса. Он разместил багаж, взял книгу и углубился в нее, чтобы не разговаривать с попутчиками, с которыми ему придется провести более двух часов. Попутчиков набралось трое: супружеская пара с кучей больших чемоданов и молодой человек, судя по всему, студент, который достал из спортивной сумки книгу, обернутую в газету.

Когда входившие здоровались, З. поднимал голову и кивал, потом снова погружался в чтение. Однако напрасно пытался он сосредоточиться: прочитав страницу, он каждый раз обнаруживал, что совершенно не помнит, о чем там шла речь. Слишком напряжены были нервы, слишком отягощал их груз непонятного волнения, уста-

лости, беспокойного ожидания. В конце концов он опустил книгу на колени и закрыл глаза, пытаясь расслабиться. Хорошо было бы подремать часок, но он чувствовал, что ничего из этого не получится. На него нахлынули воспоминания. Он прикинул, сколько же лет он не постился в День раскаяния; получалось, двадцать два или даже двадцать три года.

В ту осень, когда он только пришел в университет, он пытался не думать о празднике; но все было напрасно: какой-нибудь знакомый, звонивший по телефону, между делом обязательно напоминал ему, что близится Йом Кипур. Праздник пришелся на будничный день, у З. были лекции, а главное, он так и не смог найти повод отказаться от совместного обеда: у преподавателей был обычай ходить в столовую всей толпой. З. сидел, ковыряя вилкой жирный перкельт, который в тот день был в меню комплексного обеда, и думал лишь о том, как бы коллеги не заметили отвращение у него на лице. Тщетно говорил он себе, что расставаться с обычаями — дело легкое и, конечно, в нем нет и следа наивного страха перед нарушением запретов и предписаний; тот злополучный обед, который он ел через силу, запомнился ему на всю жизнь.

Там, в университетской столовой, в сентябре тысяча девятьсот сорок девятого года, в голове у него бродила некая виноватая, покаянная мысль, что он просто выбрал наиболее легкий путь, отказавшись ради него от всего, чем жил раньше. Чувство вины усугублялось еще и тем, что за несколько месяцев, проведенных в университете, он не выполнил почти ничего из намеченной для себя программы. Он не преподавал то, а главное, так, что и как хотел преподавать: историю Древнего мира, свободно сопоставляя греческие, древнееврейские и христианские источники. На место прежних идеологических ограничений пришли другие, новые, но если прежние он в свое время принимал добровольно, а потом, тоже по своей воле, отвернулся от них, то теперь, в новых условиях, выбора у него не было…

Вагон трясло на стыках рельсов, и он почувствовал тошноту. Да еще тот злосчастный обед вспомнился, и во рту появилась кислая, едкая слюна. И тут в памяти у него возникло одно давнее-давнее, из детских лет, переживание — еще один неприятный случай, связанный с праздником Йом Кипур.

В тот день, как и в другие праздники, в школу он не пошел. Но в ранний послеобеденный час,

когда он с урчащим от голода желудком, борясь с головокружением, шел из синагоги домой, чтобы, по совету отца, прилечь и поспать — все легче перенести пост, — дорогу ему преградили два одноклассника. Один из них был сыном мясника, второй — еврей, отпрыск самого известного в Таполце адвоката. Правда, семья последнего вечером «Кол нидрей»[10] тоже ходила в синагогу неологов, но следующий день у адвоката был рабочим, так что он и сына послал в школу. А тот, желая угодить сыну мясника, который был самым сильным в классе и уже помогал отцу в лавке, рассказал ему, что «ортодоксальные» евреи в этот день ничего не должны есть. Будущий мясник решил, что, если они вдвоем немного покормят одного из этих чудиков, это будет великолепная шутка. Затащив З. в подворотню, они заломили ему руки за спину и попытались затолкать в рот сандвич с копченым салом. З. изо всех сил крутил головой, чтобы свинина не коснулась рта. А когда толстый сын мясника, которому надоело возиться с ним, схватил его за волосы, чтобы он не мог уворачиваться, и размазал по его лицу раскрошившийся сандвич, — З. отча-

[10] Примечания: 10

«Кол нидрей» (Все обеты) — молитва в канун Судного дня; так называют и всю молитву этого вечера (*иврит*).

янно заорал. Двое мальчишек стали озираться: не слышит ли кто, — и предпочли убежать. З. отплевывался, глотая слезы и борясь с тошнотой, вызванной скорее унижением и чувством голода, чем отвращением перед трефным, так вопиюще оскорбляющим святой пост. И еще его переполняло не совсем объяснимое чувство вины, поэтому он не стал рассказывать о случившемся дома.

Воспоминания эти нахлынули так резко, что профессор вздрогнул. Когда он открыл глаза, поезд подходил к какой-то станции. Пожилые супруги готовились выходить. Когда они снимали с багажной сетки свои чемоданы, одна небольшая сумка свалилась и выбила книгу из рук молодого человека. З. машинально подхватил книгу, отчего газетная обертка разорвалась и показалась обложка. По обложке З. узнал книгу: это была «Иудейская война» Иосифа Флавия.

Нежданная встреча с любимым автором, с произведением, которое З. считал таким важным в мировой историографии, подняла ему настроение. Молодой человек, который все еще возмущенно качал головой: вышедшие попутчики даже прощения не попросили за свою неуклюжесть, — не мог понять, почему пожилой сосед улыбается, протягивая ему книгу.

Когда поезд тронулся, З., вопреки своим привычкам, не мог удержаться и заговорил с молодым человеком. Тот оказался студентом-юристом, он ехал домой на уик-энд. Сначала он отвечал на вопросы сдержанно, потом разговорился. А когда выяснилось, что пожилой попутчик преподает в университете древнюю историю и считает книгу Иосифа Флавия фундаментальным историческим источником, он уже не просто поддерживал разговор, но даже отважился вступить в спор.

Предметом их беседы стал сам Иосиф Флавий, еврей, получивший римское гражданство, священник, военачальник, писатель-историк. Во время антиримского восстания в Иудее он попал в плен и, считая сопротивление лишенным всякого смысла, обратился к своему народу с призывом сложить оружие. Он пытался убедить евреев, запертых в осажденном Иерусалиме, сдаться, ибо Бог отвернулся от них, погрязших в грехах, и обратил свою милость на римлян. И позже в своих книгах Иосиф стремился побудить евреев покориться власти Рима, а заодно знакомил мир с историей и обычаями евреев.

У юноши было свое мнение: он считал, что книга Иосифа Флавия — это лишь своего рода апология Рима; задача же познакомить чита-

телей, все еще с подозрением относившихся к евреям, с их историей и культурой — не более чем побочная цель. Разумеется, он, не будучи историком, может ошибаться, но, даже добравшись до последних страниц книги, до автобиографии автора, не может избавиться от ощущения, что Иосиф Флавий до конца жизни пытался осуществить неосуществимое: написать правду так, чтобы в то же время не сказать всей правды, представить себя честным и порядочным — несмотря на то что все считали его бесчестным, предателем, а уважали лишь те, кто, не без его помощи, одержал победу над евреями. Иосифу удалось, не отказываясь от своей еврейской сути, достичь благополучия и безопасности в статусе гражданина империи: Рим щедро вознаградил его за лояльность. Он много работал над тем, чтобы в фундаментальном историческом труде, который он положил на стол императору, было взвешено каждое слово: ведь напиши он полную правду, ему пришлось бы лишиться своих привилегий.

Молодой человека, раскрасневшись, отстаивал свою точку зрения, а З. все более удивлялся тому, что его любимый писатель-историограф сегодня может быть прочитан под таким углом. В его глазах Иосиф всегда служил примером того, что

и в самых стесненных условиях можно хоть в какой-то мере высказать правду, что и в самые мрачные времена человек имеет возможность сохранять верность себе, в то же время приспосабливаясь к требованиям изменяющегося мира, учитывать интересы своего народа — и внимать голосу духа эпохи. Он всегда видел в Иосифе этот мучительный конфликт — конфликт интеллигента, который в меру сил и возможностей пользуется постепенно расширяющейся сферой свободы и осуществляет реальную политику, конфликт виртуоза тактики, который превыше всего ставит преемственность жизни. Это свое мнение З. высказал и сейчас.

И ошеломленно слушал потом разумные, хотя и несколько пылкие аргументы юного юриста, в котором в начале разговора лишь предполагал, но теперь все с большей уверенностью видел еврея; у него даже мелькнула мысль, что его сын, останься он жив, был бы ненамного старше этого юноши. Ему показалось, что попутчик тоже угадал в нем еврея и именно потому спор стал таким откровенным.

Когда открылась дверь и в купе заглянул проводник, молодой человек замолчал на полуслове. Проводник убедился, что в купе нет новых пас-

сажиров, и пошел дальше. Юноша открыл было рот, чтобы продолжить свою страстную речь, но профессор остановил его и спросил: а может ли он представить себя в положении Иосифа? Неожиданный вопрос, судя по всему, выбил студента из колеи, но, помолчав с минуту, он решительно кивнул: да, может. На некоторое время воцарилось молчание. З. так и не задал коварный вопрос: как поступил бы юноша на месте Иосифа? Он лишь сказал рассудительно, намереваясь этим поставить точку в дискуссии: иногда выжить куда труднее, чем эффектно пожертвовать собой и погибнуть. Бывают ситуации, когда будущее неясно, когда ты не знаешь, на что опереться в своих упованиях. А потому человеку не остается иного, кроме терпеливого выжидания, добавил он после короткого раздумья.

Юноша, видимо, не заметил, что собеседник не склонен продолжать дискуссию, и вернулся к разговору о книге Иосифа Флавия, пользуясь при этом весьма сильными выражениями. Если судить по «Иудейской войне», сказал он, то Иосиф, пока боролся и побеждал, никогда не задавал себе вопроса: отвечает ли его деятельность воле Божьей? Зато постоянно мучился этим вопросом, когда попал в западню и у него остался лишь один

шанс выжить: отрекшись от Бога, а тем самым и от самого себя. Тут он говорит о Боге постоянно, заявляя, что Бог встал на сторону римлян, а потому сопротивление евреев утратило смысл.

Профессор опять не удержался — и поднял брошенную перчатку. Из того, что говорил его молодой собеседник, он сделал вывод, что тот не знает, в чем заключалась суть религиозного сознания человека древности, как не знает и историю появления этой книги. И потому не способен понять, что, выполняя указания Веспасиана и Тита, работая под их надзором, Иосиф все же сумел создать бессмертные произведения, пускай пафос их и определялся прежде всего той целью, чтобы, в обмен на похвалу императора, на право стать римским гражданином, на получение земельного надела и ранга всадника, внушать своему народу мысль о бесполезности восстания, о непобедимости Римской империи и в то же время о ее гуманной политике. Даже в таких духовных оковах он способен был писать. Способен был — как истинный историк — сохранять верность деталям; то есть продуктивно, хотя и в рамках сложившихся обстоятельств, пользоваться данными ему возможностями. А в книге «Иудейские древности», написанной двадцать

лет спустя, или в трактате «Против Апиона» он пошел еще дальше — насколько позволяли новые условия — и создал страстную апологию своего народа… Но З. хотел сказать не об этом. Было нечто, что в этот момент представлялось ему куда более важным.

В годину страшных бедствий или, если угодно, в состоянии крайнего отчаяния, сказал он, тяжело вздохнув, не может ли человеку в какой-то момент показаться, что Бог отвернулся от него, от его народа? Ведь в такой момент он имеет право подумать: пускай прожитая им жизнь утратила смысл, однако он, пойдя на трезвый компромисс, способности свои может поставить не на дело своего сообщества, дело, в данных условиях безнадежное, а на службу общечеловеческим интересам, подразумевая под ними, конечно, и интересы собственного народа, который при этом условии — возможно, только при этом условии — сохранит себя и свой духовный потенциал, обогащая им человечество?..

З. говорил лаконично и твердо, словно гипнотизируя собеседника своим тоном. Юноша слушал приподнятую речь пожилого собеседника, широко раскрыв глаза. Он, видимо, чувствовал, что их беседа подошла к решающему моменту, и

сдерживал себя, чтобы не перебить профессора. А когда тот закончил излагать свои доводы, молодой человек пожал плечами и сказал: не очень-то он может это убедительно доказать, но впечатление у него такое, что стремление Иосифа ссылаться, ради того чтобы уцелеть и добиться успеха, на Провидение, отвернувшееся от него и от евреев, есть не более чем попытка самооправдания, причем задним числом; под этим углом нужно рассматривать и дальнейшую его деятельность.

Но это же ничем нельзя подтвердить! — сердито тряс головой, наклоняясь к юноше, профессор. Подобное радикальное мнение могли бы подкрепить разве что дополнительные источники, относящиеся к его биографии, а таковых, насколько мне известно, не существует. И тогда все это — не более чем голословные обвинения… Тон его стал резким и — впервые за всю беседу — назидательным. Он не мог удержаться, чтобы не поставить этого пылкого молодого человека на место… По лицу юноши трудно было определить, достигли ли слова профессора цели. Во всяком случае, двадцать минут, оставшиеся до Мишкольца, прошли в молчании.

З. смотрел на студента, вновь погрузившегося

в чтение, и настроение его стремительно падало. Теперь он чувствовал: самоуверенный, не претендующий на взаимопонимание тон, которым юный собеседник высказывал свои доводы, вывел его из себя. Как много их, этих горячих голов, думал он, которых ничего не стоит возбудить, вывести пятнадцатого марта на улицу, спровоцировать демонстрацию, погнать на цепь охранителей правопорядка! Сколько таких вот неосмотрительных юношей пострадало, когда полиция, окружив их на площади у Цепного моста, отобрала у них удостоверения личности, и потом они не смогли продолжить учебу в университете, — вспомнился ему неприятный случай, происшедший минувшей весной… Конечно, не только этот юнец виноват, что так плохо знает историю, однако выносит суждения без всякого морального и формального права на это… Профессор хмуро смотрел в окно, но, когда юноша встал, готовясь к выходу, и поблагодарил З. за интересный разговор, протянул ему руку и доброжелательно улыбнулся.

10

Возле вокзала он взял такси. Шофер спросил, знает ли он город, и явно готов был проявить гостеприимство, развлекая пассажира болтовней; но З. не стал поддерживать разговор. Таксист обиделся и, приняв скромные чаевые, громко хлопнул дверцей и что-то сердито пробормотал.

З. рассчитывал, что до вечерней молитвы у него будет еще два часа, однако поезд опоздал, и у него оставался всего час с лишним. Рядом с мотелем, в продовольственном магазине, он купил сыра, сметаны, две булочки, в зеленной лавке — сладкого перца, помидоров, потом, все еще с чемоданом, вернулся в продовольственный и приобрел две свечи. Проходя мимо телефонной будки, торопливо позвонил жене: с ним все в порядке, чувствует себя хорошо, номер вполне комфортабельный, так что причин для беспокойства нет. Когда он наконец вошел в номер и поставил чемодан, было уже пять часов с минутами.

Приняв душ и побрившись, он наскоро поел, затем надел темно-серую шляпу и зажег свечи. Благословение он произносил про себя, словно боясь, то его кто-нибудь подслушает. Более двух

десятилетий, а если быть совершенно точным, двадцать три с половиной года прошло с тех пор, как он молился или произносил благословение последний раз.

Оставалось лишь достать из чемодана старый, рассыпающийся на листки махзор[11], на последних страницах которого он, еще осенью сорок пятого, записал имена и — о ком знал — ерцайты[12] всех своих погибших родственников. Пятнадцать имен значились в таблице изкора[13]. За минувшие два десятилетия молитвенник попадался ему на глаза разве что в тех случаях, когда он наводил порядок в своей библиотеке.

В синагогу он пришел раньше времени. В холодноватом зале со слегка затхлым воздухом, куда не проникал свежий осенний воздух, было всего несколько человек. З. поежился, войдя. К столику хазана подошел, шаркая ногами, старик, зажег свечи. Он был одет в плащ не поддающегося определению цвета, клетчатые штаны и, по случаю праздника, обут в полотняные теннисные

---

[11] Примечания: 11
Сборник праздничных молитв.

[12] Примечания: 12
Дата смерти по древнееврейскому календарю (*идиш*).

[13] Примечания: 13
Поминальная молитва (*иврит*).

туфли на резиновой подошве, которые, вероятно, когда-то были белыми. Обернувшись, он заметил вновь пришедшего, кивнул ему, но не подошел. Возможно, в своей подслеповатости он с кем-то спутал его.

Время общей молитвы близилось, но верующие едва-едва подходили. Каждый новый вошедший бросал взгляд на З., однако в разговор с ним никто не вступал. Все накинули на себя белоснежные покрывала. З. выбирал себе талес из кучки брошенных на спинки последнего ряда; в это время кто-то остановился рядом и поздоровался. Он вздрогнул, потом, обернувшись, с некоторым смущением обнаружил, что это тот самый юноша, его попутчик в поезде. Молодой человек — он был тут единственным среди пожилых — обрадовался неожиданной встрече и несколько бестактно первым протянул руку, пожелав профессору гмар хасиме тойве — быть записанным на счастливый год. З. ответил тем же — и задержал руку юноши в своей на секунду дольше, чем было бы нужно. Тот, видимо, понял это рукопожатие в том смысле, что он как хозяин должен обменяться с одиноким гостем хотя бы несколькими словами. «Вообще-то мой дедушка тут хазан, — показал юноша на сидящего в первом ряду старика в

клетчатых штанах, — но на праздник сюда приехал рабби из-за границы, он не был в Венгрии с тысяча девятьсот сорок четвертого, и его решили почтить, попросить его вести Кол нидрей». И он показал на другого пожилого человек, который пару минут назад вошел в синагогу. Тот стоял возле дедушки и завязывал пояс на белом одеянии, надетом поверх черного костюма.

Лицо раввина, обрамленное седой бородой и все-таки моложавое, показалось З. знакомым; но он так и не понял, откуда его знает. Он поблагодарил юношу; тот ушел и сел рядом с дедом. З. не слышал, о чем они говорят, но догадался, что, видимо, о нем: старик и раввин одновременно посмотрели в его сторону. Он торопливо отвел взгляд, сделав вид, будто погрузился в молитвенник. Когда он снова поднял глаза, раввин уже накрыл голову талесом и громко читал молитву.

Служба продолжалась добрых два часа. З. на какой-то миг удивился, не услышав «Овину малкену»[14], которая должна была завершать ритуал, но быстро спохватился: в субботу молитва эта не произносится. К концу службы у него пересохло горло, хотя многие из молитв, которые

---

[14] Примечания: 14
«Отец наш, царь наш» (*иврит*).

остальными пелись громко, он лишь бормотал про себя, а с покаянными пассажами забегал вперед, быстро перечисляя грехи.

Его мучила жажда, а до конца поста было еще далеко! Ему вспомнилось, что говорил отец, когда он впервые попробовал продержаться все двадцать пять часов, предписанные Законом. Чем старше будешь, тем легче пойдет дело, уверенно сказал отец; но годы шли, а он, хорошо переносся голод, с жаждой по-прежнему справлялся с трудом.

Складывая талес, он размышлял, как ему удастся перенести этот пост… И вздрогнул, услышав обращенные к нему слова. Рядом стоял раввин. З. медленно, словно стараясь выиграть время, встал со скамьи. *Вос махт а ид?*[15] — с шутливо-приятельской интонацией спросил раввин, а когда З. ничего не ответил, перешел на ломаный венгерский, поинтересовавшись, не знакомы ли они случайно друг с другом? З. растерянно поднял взгляд на раввина, разглядывая его редковатую седую бороду, лицо с бледной, как воск, кожей. Тот пристально смотрел на него. З. отрицательно покачал головой. Он надеялся, что раввин не

---

[15] Примечания: 15

Что делает еврей? (*идиш*) — старинная форма приветствия.

сообразит, откуда они знакомы; сам-то он уже по наигранно-фамильярной интонации фразы, произнесенной на идише, с полной ясностью вспомнил это. В груди у него разлилось тепло; однако он предпочел не показывать ту нежданную радость, что охватила его, когда он узнал давнего знакомого, которого не числил в живых: тот бесследно исчез в дни немецкой оккупации Венгрии.

З. и сейчас, почти тридцать лет спустя, помнил этот голос. В Школе раввинов студенты немало потешались над появившимся среди года новичком, который, хотя и состриг пейсы, хотя и быстро выучил венгерский и, пусть с жутким акцентом, немецкий, все равно остался галицийцем: слишком явно в его поведении проглядывал штетл[16], тот тип, к которому городские евреи, а уж будущие раввины тем более, относились с едва скрываемым презрением.

З. попытался сдержать свои чувства. Чтобы не дать тому возможности все же вспомнить его, он сухо извинился и решительно направился было к выходу; но раввин остановил его, положив руку ему на локоть. Скажите хотя бы ваше имя,

---

[16] Примечания: 16
Местечко (*идиш*). Здесь: деревенщина.

вежливо, но настойчиво попросил он; однако З. воспринял это как навязчивую бестактность. Мы незнакомы, повторил он раздраженно, зная, что это обидит раввина, и, повернувшись, направился к двери. Но, сделав несколько шагов, остановился и обернулся. Яков, сказал он, глядя на раввина, который растерянно смотрел ему вслед. Мое еврейское имя было — Яков. Было? — удивленно переспросил раввина; но З. на это уже ничего не ответил.

В этот момент раввина окликнул старик хазан, который стоял у Священного ковчега и возился с замком. Но раввин все еще не сдавался. Вы утром придете? — крикнул он вслед З., тот кивнул. Скажите хотя бы, вы — коэн? — продолжал раввин. Мне это надо знать, потому что, сами понимаете, алия[17], духенен[18]... объяснял он, разводя руками, словно оправдываясь. З. лишь помотал головой, хотя не в силах был сдержать нервной улыбки. Что за настырный тип, досадливо думал он. Ну, нет так нет, пожал плечами

---

[17] Примечания: 17

Приглашение читать Тору (*иврит*).

[18] Примечания: 18

Благословение, произносимое в праздник Йом Кипур кознами — представителями рода священников — с возвышения перед Священным ковчегом — хранилищем свитков Торы в синагоге (*идиш*).

раввин, грустно смирившись с тем, что ему так и не удалось узнать, откуда ему знаком этот странный человек. Гмар хасиме тойве, произнес он и шагнул к З., все еще вглядываясь в его лицо и напрягая память; профессору пришлось шагнуть навстречу и пожать протянутую руку.

З. не хотелось идти вместе с другими: ведь кто-нибудь снова привяжется к нему с расспросами. Поэтому он двинулся куда-то в сторону, противоположную центру. Спустя какое-то время он заблудился в темных, без фонарей, переулках — и кое-как вернулся наконец к синагоге. Дорогу отсюда он уже знал.

Минуло десять часов, когда он добрался до мотеля. Оказавшись в номере, он сел в ветхое кресло, включил настольную лампу — зажигать свечи было еще рано — и стал листать молитвенник. Во рту совсем пересохло, правая рука затекла, но хуже всего была усталость. Он сполз пониже, чтобы устроиться поудобнее; шляпа свалилась с его головы, он снял очки, сбросил туфли, положил ноги на столик — и мгновенно заснул…

Утром в синагоге его вызвали читать Тору. Он был среди собравшихся единственный коэн, по прямой линии потомок священников иерусалимского Святилища, и в его обязанности входило,

накрыв голову талесом и воздев руки, благословить верующих. Но он не двинулся с места.

«Яков бен Ицхок», — четко прозвучало его имя на иврите. Он вздрогнул, но не ответил. В смущении, чтобы не встретиться с кем-нибудь взглядом, он не отрывал глаз от молитвенника. Людей в синагоге было немного, и ни один из них не оглянулся, не посмотрел на него. З. не видел раввина, стоящего где-то впереди; лишь голос, все более громкий, долетал до него. З. даже не был уверен, действительно ли его голос он слышит. Во всяком случае, он молчал, не отвечая. Его снова позвали по имени, еще ближе, еще настойчивее. Он и на сей раз не видел, откуда доносится голос… Он уже вообще не видел лиц… У него закружилась голова. Синагога звенела от громогласно произнесенного имени, он же лишь тряс головой… Они не могут знать мое имя, стонал он про себя, я им ничего не сказал, этого быть не может, это все — дурной сон…

Он решил уйти. И поскольку никто на него не смотрел, даже когда его снова позвали по имени, он подумал, что ему удастся выйти незаметно. Жажда мучила его все сильнее, а вместе с тем нестерпимо захотелось помочиться, и он решил пойти в туалет — и больше не возвращаться на

богослужение. Туалет находился в вестибюле. З. поежился от холода, но с облегчением закрыл за собой дверь. Прежде чем подойти к писсуару, он нагнулся над раковиной, открыл кран — и в тот же момент выпрямился, словно в нем сработала невидимая пружина. В ужасе смотрел он в зеркало — и не видел собственного лица. Зеркало было пустым. Из груди З. вырвался дикий крик…

Задыхаясь, хватая ртом воздух, очнулся он в гостиничном кресле. Сердце готово было разнести грудную клетку. Воротничок рубашки промок от холодного пота. Это просто дурной сон, внушал он себе, дрожа всем телом. Он надеялся, что соседи не слышали его крика. Нашарив упавшие на пол очки, он пошел в ванную комнату и посмотрел на себя. Худощавое лицо со строгими чертами, большой нос с горбинкой, седые волосы, зачесанные назад, округлившиеся глаза за стеклами очков в толстой черной оправе, подергивающиеся щеки… Он вздохнул, открыл кран, нагнулся и большими глотками стал пить холодную воду.

Четверть часа он нервно ходил по комнате, не находя себе места. Дрожь все еще сотрясала его, когда он надел пижаму и опустился на край кровати. Его мучила тошнота. Постельное белье было прохладным, и ему показалось, что у него

опять начинается жар.

Ему хотелось расслабиться, успокоиться — и решить наконец, пойдет ли он завтра в синагогу, не испугается ли. Может, уехать домой? Тщетно пытался он быть рассудительным: он чувствовал, что не может еще раз позволить подвергнуть себя этим невыносимым расспросам. Стиснув зубы, он подумал, что до воскресенья надо как-то продержаться, домой ему ехать пока нельзя. Он ума не мог приложить, что скажет дома, если вернется раньше времени. Лгать не хотелось, а правду, он был уверен, жена все равно не поймет.

Он повертелся, потом лег на спину, глядя в потолок. Засыпал он всегда хорошо, но сейчас ему никак не удавалось уснуть…

Возвращение домой

Дым из трубы паровоза выползает все более устало; клубы пара, сипя, вырываются из-под железного брюха, заволакивая тормозящий состав густым облаком. Поезд, в последний раз дернувшись, замирает. В боковом окне паровоза показывается машинист в грязной майке, с потной, испачканной копотью физиономией; высунувшись, он смотрит назад, на вагоны, словно торопя пассажиров: вылезайте, мол, приехали. Впрочем, в составе всего два вагона: один — пассажирский, второй — товарный.

Со ступеней пассажирского вагона спрыгивает потный, расхристанный проводник в сдвинутой на затылок фуражке: после раскаленного, как духовка, вагона он словно надеется вдохнуть немного прохлады; но разница между тем, что в вагоне, и тем, что на перроне, почти не чувствуется. Яростное июльское солнце разогрело воздух выше тридцати градусов. Недавно миновал полдень; поезд отправился из столицы на ранней заре, добрых семь часов тому назад.

На перроне — один-единственный человек,

видимо, он кого-то встречает. Больше — никого; нынче ни сюда, ни отсюда никто не едет. Он тут тоже, собственно, по обязанности: ждет клиентов, которые с помощью головы сельской управы заказали ему кое-какую работу.

Проводник с радостью что-нибудь выпил бы. Его разморенное зноем воображение способно сейчас представить лишь кружку холодного, с шапкой пены, пива… Но в путевом листе стоит: на этой станции что-то надо выгрузить. Пока не выгрузят, он должен быть здесь. Кто его знает, сколько времени это займет, бурчит он себе под нос. Помогать он точно не станет. С какой стати? Кому нужно, тот пускай и корячится. Его дело — билеты проверять, а не груз выгружать… Правда, если не помочь, эти ведь целый час провозятся. Да еще будут думать, что он против них что-то имеет, потому и помочь не хочет. А, пускай думают, что хотят. Все они одним миром мазаны. С такими каши не сваришь. А после того, что было, тем более. Вот сейчас: чего они не вылезают-то? Ждут, чтоб ковровую дорожку им постелили? Или, может, просто молятся там, в сорокаградусной духоте. В черных костюмах, в шляпах. Хрен их разберет! Поймешь разве: то ли они всегда так ходят, будто у них каждый день праздник, то ли

у них в самом деле нынче праздник?.. Вот только если праздник, они бы не ехали на поезде, это даже он знает; как ни скрытничают они, он-то знает… И опять же, мало им того, что было, они все равно возвращаются. Вы подумайте только: возвращаются туда, где все это с ними случилось. До чего упорный, до чего настырный народ, черт бы побрал все их упрямое семя!

Проводник направляется в ту сторону, где должен быть кабинет начальника станции: попросить тележку. Скорей будет, если он сам этим займется, а не станет ждать, пока они будут тыкаться бестолково туда-сюда. В Пеште на них насмотрелся. Будто та косметика, или что там они везут, такой уж невозможно хрупкий товар… Он даже спросил: что в ящиках-то, бутылки стеклянные, что ли? Потому что если стекло, то надо особо указать, мол, обращаться осторожно, да и упаковка нужна особая. Правда, тогда и оплата другая.

Нет, не стекло, но требует осторожного обращения, успокоили они его. Ладно, хотят экономить — пускай экономят, рассуждал про себя проводник. А если что случится с товаром, пускай пеняют на себя. Такой уж они народец, на всем экономить готовы, вот и хитрят, придумывают

увертки всякие, и даже риск их не останавливает. Во всяком случае, от него они не отошли, пока он с грохотом не закрыл дверь товарного вагона и не повесил на нее пломбу.

В вагон поставили десять тяжелых ящиков и один полегче. Все ящики заколочены гвоздями. И условие оговорили: в этом вагоне чтоб ничего больше не было, ни груза никакого, ни багажа. Они предпочли заплатить за целый вагон.

Проводник только плечами пожал: его дело маленькое, хозяин барин.

Путевой лист выправили по всем правилам, подписи все поставили, деньги в дирекцию внесли — стало быть, имеют право везти что угодно и как угодно. Он уже добрых тридцать лет работает на железной дороге, насмотрелся всякого, натерпелся и от собственного начальства, и от всяких чокнутых пассажиров; хотя эти, нынешние, тоже те еще фрукты! Насмотрелся он, год с лишним назад, как заталкивали ихнего брата по восемьдесят — девяносто человек в вагон, видел руки, высовывающиеся из-за колючей проволоки на окнах, слышал плач и мольбы о глотке воды; отправлял и он, за хорошие деньги, письма, выброшенные из вагонов перед границей, жалел и он несчастных, которые в отчаянии просили

хотя бы сказать, куда их везут… Было и у него несколько ночей, когда спать не мог от увиденного. Вот почему ему прямо плеваться охота, когда он видит, что после всего, о чем нынче много пишут газеты (даже слишком, пожалуй, много: в конце концов, другие тоже страдали), эти с немцами торгуют. Не с кем-нибудь, а с немцами! На ящиках, которые они возят туда-сюда через всю Европу, немецкие штампы стоят! Нет, ей-Богу, ничего их не берет, они при любом раскладе придумают способ, чтобы выгоду получить. Ничего не стесняются!.. У проводника не было ни малейших сомнений, что груз, который он привез, кому-то обещает хороший барыш. Иначе чего бы они с ним обращались так бережно?

Ничему они за эти годы не научились, снова думает он. Ничего им в жизни не интересно, кроме коммерции…

Мечта у него сейчас одна: смотаться поскорее в деревню, выпить кружку холодного пива; но он все же бредет добывать тележку — чтоб не сказали, будто он не хотел им помочь. Тележку он, ладно, привезет им, а потом пускай сами справляются, как знают. Выгружать ящики он не станет. Он проводник, а не биндюжник.

Подкатив к вагону грузовую тележку, провод-

ник отправляется к начальнику станции.

В этот момент в двери пассажирского вагона появляется пожилой человек с седеющей бородой; на нем черная шляпа, черный костюм, белая рубашка. У него за спиной — еще один мужчина, помоложе, одетый подобным же образом. Бороды у него нет, но лицо покрыто густой черной щетиной. Он справляет траур, поэтому не бреется.

Оба выглядят уставшими, даже изнурёнными. Они ищут взглядом проводника, но тут замечают в конце платформы немолодого крестьянина; тот направляется к ним. На нем сапоги, холщовые штаны, выгоревшая рубаха, жилет и шляпа.

День добрый, приветствует он их.

И вам того же.

Из Пешта, верно?

Они кивают.

Я за вами с подводой.

Все подготовлено? — нетерпеливо спрашивает пожилой.

Как сказано в телеграмме. Господин голова нас с зятем выделил.

Что значит: выделил?

Так жатва ведь. Народ нынче в поле.

Тут у всех есть земля?

В основном у всех.

А другие что, не хотели за эту работу браться?

Не сильно. А нам деньги нужны. Вот я и взялся, коли вас это устроит. Я и зять мой.

Как вас зовут?

Михай Шуба мы, снимает шляпу крестьянин.

Германн Шамуель, протягивает руку пожилой. Молодой лишь кивает.

Тогда — за дело, господин Шуба.

Крестьянин идет позвать зятя, который с лошадью ждет за станцией, в тенечке.

Тут появляется проводник, машет рукой, показывая в конец платформы.

С тележкой легче будет, говорит он. Крюк небольшой надо сделать, но зато не тащить на руках.

Спасибо, кивают они.

Надо бы расписаться, что все получено.

Конечно, но после выгрузки, щурится пожилой.

Как угодно, обиженно отвечает проводник и демонстративно отворачивается. Он уже жалеет, что бегал, тормошился, тележку добывал. Но делать нечего, транспортировка заканчивается выгрузкой. Ладно, я погожу, думает он, тоскливо глядя в сторону деревни. Погожу, коли вам так требуется!

Подходит крестьянин, с ним зять. Тот трогает край шляпы и что-то бурчит в знак приветствия. Проводник и им показывает тележку, будто и так не ясно, что без нее тут не обойтись. Потом, подойдя к вагону, срывает пломбу и откатывает тяжелую дверь.

Ящики стоят нетронутые.

Крестьянин-возчик влезает в вагон, пододвигает ящики к двери, спрыгивает. Вместе с зятем они снимают ящики по одному, ставят их на тележку. В какой-то момент от неловкого движения один из ящиков, покачнувшись, едва не падает у них из рук. Германн Шамуель и его молодой спутник одновременно бросаются к вагону, на лицах у них тревога; но Михай Шуба успевает подхватить ящик, и тот занимает свое место в штабеле.

Только, пожалуйста, осторожнее! Не торопитесь, мы никуда не спешим, говорит пожилой, держась за руку молодого.

Пока идет выгрузка, из помещения станции выходит парнишка, садится на велосипед и катит по дороге, между разморенными зноем, недвижными пирамидальными тополями, к деревне. Это — гонец; он должен сообщить голове: приехали, с грузом, в бумагах значится — парфюмерные товары.

Стало быть, в самом деле приехали, вздыхает голова, ослабляя узел галстука. Подойдя к окну, распахивает его, словно ему не хватает воздуха, но в контору, где не проветрено, но все же прохладно, снаружи льется лишь зной. Голова раздраженно захлопывает створки.

Ступай к моему сыну, скажи, пусть наберется терпения, я к нему тоже потом зайду. Подождем, посмотрим, что они станут делать. Скажи-ка, есть из них кто-нибудь здешний?

Я ни одного не знаю, говорит мальчишка-гонец, взволнованный важностью поручения.

Сколько хоть их?

Двое.

Ну да… Сейчас двое, потом остальные явятся… А зовут их как?

В путевом листе только один записан, Германн Шамуель.

Этот и не отсюда вовсе. Этот наверняка не был в… Не договорив фразу, он замолкает.

Теперь он совсем ничего не может понять. Лавочкой, где продавали всякую парфюмерию, владел Тёрёк. Может, он завещание успел написать? Или продал лавку, еще до того как… Нет, это вряд ли. Он ведь должен был оформить сделку официально, налог уплатить, то, се. Иначе

договор о продаже не действителен, и с новым владельцем разговор будет короткий.

Голова Иштван Шемьен думает о своем сыне Арпаде, который три года назад был в парфюмерной лавке продавцом, потом стал приказчиком, потом, на бумаге, владельцем, а после того как Имре Тёрёк летом тысяча девятьсот сорок четвертого года вместе с семьей покинул деревню (голова пользуется такой формулировкой, когда его спрашивают; правда, его почти никто никогда не спрашивает), Арпад стал полным хозяином лавки.

Может, теперь пора вздохнуть свободно?.. Появись тут сам Тёрёк, объясняться было бы нелегко; тем более что с Арпадом хозяин лавки всегда хорошо обращался… А если кто другой станет на имущество Тёрёка претендовать, значит, сам Тёрёк уже не вернется… Голова, тяжело вздохнув, затягивает узел галстука. Да, жизнь — борьба, а молодежь нынешняя послабей будет, чем в наше-то время. Не будь у них такой опоры, как мы, не смогли бы они устоять.

В общем, ты ступай к моему сыну и скажи ему, чтоб сидел спокойно. Я пока тут останусь. Может, они сюда сначала приедут, и надо будет что-нибудь сделать.

Мальчишка кивает, выходит и, вскочив на велосипед, катит вдоль улицы к парфюмерной лавке. Там он пытается войти, но дверь оказывается закрытой. Он дергает ручку, стучит в стекло — никакого ответа. Непонятно… Никогда Арпад не закрывает днем, и перерыва на обед у него не бывает.

Арпад! Шемьен!

Тишина. За дверью темно, хотя таблички «Закрыто» нет. Мальчишка, перебежав улицу, стучит в окошко дома напротив: Арпада не видали сегодня?

Утром был здесь, открыл как обычно, отвечает в окно старуха. А потом не знаем, не видали… Правда, и не смотрели особо…

Мальчишка едет назад, в правление, с вестью: лавка закрыта.

Арпада нет в лавке?

Нет, господин голова.

Иштван Шемьен ушам своим не верит. Про Арпада много всякого можно сказать, но парень он аккуратный и от работы не отлынивает. Будь хоть землетрясение, он все равно свою лавку откроет. Не может такого быть, чтобы как раз сейчас его не было! Знает ведь, что они сегодня должны приехать…

Голова садится в бричку: придется проверить самому. Он любит ездить: больше ни у кого в деревне нет такой легкой и послушной упряжки. Белоногая кобылка просто стелется над землей, когда он правит. Не спрячь он ее, когда русские проходили через деревню, не видать бы ему больше лошадки как своих ушей. Но ничего, Бог миловал, и с тех пор кобылка эта ему дороже любой, молодой и здоровой.

Ступай, свободен пока! — кидает он с козел мальчишке-посыльному — и выворачивает на улицу. Мальчишка неторопливо едет на почту, радуется, хоть часок можно побездельничать.

Иштван Шемьен гонит вовсю, помахивая кнутом над лошадкиным крупом, и хмурится: куда мог деться Арпад? Знает ведь, что сегодня должен на месте сидеть как пришитый! Они договорились, что Арпад должен делать… Правда, голова и сам до сегодняшнего дня надеялся, что все обойдется. Что произойдет чудо и они не приедут. Надеялся, даже когда пришло письмо, в котором они сообщали о своем приезде и просили помощи. Ну он-то еще мог бы встать в позу: дескать, правление — не транспортная контора, чтобы помогать всяким! Пускай сами организовывают. Но на Арпада тошно было смотреть, видно было,

что боится он этой встречи. Размазня потому что, не способен самостоятельно действовать. Ни в политике, ни в лошадях не понимает. В бабах — и подавно! Позорище просто: даже для воинской службы был признан негодным. Вырождается молодежь ко всем чертям… Этого только книжки всегда интересовали. Романы, стихи. Тут он в мать пошел, как и здоровьем: легкие у него слабые… Книжный червь, словом… Но лавку держал на уровне. Что в комитатском центре есть, то и у него всегда можно купить. Сердцем он торговлю понимал… хоть умом и не очень.

Черт!.. Шемьен оглушительно щелкает кнутом. Смотри ты: он тоже думает об этой поганой лавке так, будто все уже кончено. А вот нет же, не кончено! Пусть они хоть из кожи вылезут, а он лавку удержит. Будет и на нашей улице праздник!

Перед парфюмерной лавкой он соскакивает с облучка и громко стучит в дверь.

Ты здесь, сынок? Арпад, ответь! — обращается он к двери, над которой красуется новая вывеска, которую он сам заказал. Изнутри доносится какой-то звук: словно банки или флаконы стукнулись. Черт побери, Арпад! Открой сейчас же!

Ответа нет. Хотя Иштван Шемьен чувствует: сын тут, за дверью. Весь он в этом. Смех да и

только…

Арпад! Шевелись там, так тебя перетак! Сколько раз говорить? Вот увидишь, вышибу дверь, если сам не откроешь, сдавленным голосом кричит Шемьен. Не смеши людей, веди себя как мужчина! Хоть раз в жизни… Отвечай за то, что сделал.

Арпад Шемьен сейчас ненавидит своего отца. В ушах у него звоном отдаются эти слова: «за то, что сделал». Будто это не отец подбил его, чтобы он согласился стать приказчиком, а потом вел лавку, как свою, коли уж у него документ на руках, что она — его собственность. Правда, и ему это кстати пришлось: работал он со знанием дела, практики, слава Богу, успел накопить, знал, что где лежит. Так что на хлеб с маслом себе зарабатывал, да и отец перестал цепляться, мол, жить не умеешь, все тебя за ручку надо водить… И вот тебе: теперь опять орет на него, как на несмышленыша… Он медленно поворачивает ключ в скважине и, стоя в приоткрытой двери, с достоинством выпрямляет плечи. Хотя он все равно ниже, чем тот, кто стоит перед ним и кого судьба дала ему в отцы, Арпад решительно говорит:

Идите по своим делам, батя. Я сам знаю, что мне делать.

Он уже давно приготовился: если придут, посту-

чат в дверь, он снимет с вешалки свой льняной пиджак, соломенную шляпу, впустит их и скажет: пожалте, милости прошу, я сохранил вашу лавку, получайте. Я сделал, что обещал. А теперь прошу прощения… И, приподняв шляпу и вежливо кивнув, уйдет прочь.

Отец словно читает его мысли. Распахнув дверь, он входит в лавку. И — загораживает путь к бегству. Отец и сын смотрят друг на друга в упор.

Черта с два ты знаешь, что делать. Ты что, думаешь, мы просто так возьмем и откажемся от своего?

От чего это — от своего?

Договор есть договор. У нас бумага, что лавка твоя. Или нет?

А, что это за бумага! Вы же сами знаете, батя.

Бумага — это бумага. Документ. Пускай судятся, если могут.

Я с ними не буду судиться.

А что ж ты будешь делать?

Брошу все и уйду.

Ах ты, мать твою так! Я тебе брошу! Я тебе уйду! Если начал, доведи до конца! Хоть раз в жизни будь мужчиной!

Оба сейчас думают об одном и том же. Об Эстер Хорус, девке из соседней деревни. Арпад больше

года ухаживал за ней, он до сих пор ее любит, а она обручилась с парнем из своей деревни. Арпад и сейчас шлет ей письма, да со стихами… Он еще и стихи сочиняет, что особенно раздражает отца. Правда, письма остаются без ответа… Словом, Арпад совсем потерял голову. Ему и лавка-то нужна только для этого: пока возится тут, не думает об Эстер. А вечерами… Вечерами он сидит, погрузившись в себя, или в книжки зарывается.

Отец и сын смотрят друг на друга. Каждому хочется, чтобы другой наконец проникся его чувствами, но оба прекрасно сознают, что понять друг друга они никогда не смогут.

Сын медленно отводит взгляд и принимается передвигать на прилавке образцы товаров. Отец же опускается на стул рядом со столиком, тут обычно сидит какой-нибудь пожилой покупатель.

Они ждут.

Возле станции как раз закончили укладывать ящики на подводу. С тележкой пришлось сделать крюк, но все равно это проще и быстрее, чем таскать ящики в руках по одному. Когда все одиннадцать ящиков уложены, Германн Шамуель соглашается подписать бумаги, и проводник наконец может пойти по своим делам. До отправ-

ления поезда добрых четыре с половиной часа. Проводник мечтает об одном: добраться до корчмы и посидеть там за кружкой холодного пива.

Попросив у начальника станции велосипед, он катит в деревню. Даже седло велосипедное раскалилось на солнце, но все это ерунда: проводник уже видит перед собой запотевшую, тяжелую, полную кружку.

Подвода с ящиками трогается, отъезжает от станции, поворачивает к дороге. А проводник в эту минуту входит в полутемный пивной зал, тяжело опускается за столик, ближе всех стоящий к прилавку, и поднимает к губам кружку с густой шапкой пены.

Крестьянин-возчик с зятем сидят на козлах. Перед этим они тщетно пытались предложить это место двоим приезжим.

Не меньше получаса ведь до деревни-то, сказал крестьянин-возчик. Но пожилой только рукой махнул: поехали.

Возле ящиков тоже можно сесть, не успокаивается возчик. Ответа нет; ладно, была бы честь предложена…

Солнце стоит в зените. Михай Шуба, цокая языком, время от времени трогает лошадь кончиком кнута. Не лошадь — а кляча, но другой нет, при-

ходится на этой возить. Когда есть что возить.

Много чего об этих сказать можно, думал он после того, как Иштван Шемьен вызвал его к себе и объяснил задачу, — в одном нельзя упрекнуть: что об умерших своих не заботятся. Год их не было здесь, а надо же, первым делом — на кладбище. Хотя столько хлопот впереди: переселиться, наладить торговлю… Нет, у этих главное — о покойниках позаботиться, и Михай Шуба долго, уважительно качал головой. Хотя в общем-то, если подумать, покойники — они и есть покойники, живым они не помощники.

Медленно тащится по дороге подвода, за ней шагают приезжие, в черных костюмах, в черных шляпах, по тридцатиградусной жаре.

В конце тополевой аллеи подвода сворачивает на шоссе, которое вливается в главную улицу деревни. В это время проводник, поставив локти на стол, приканчивает первую кружку.

Одиннадцать ящиков привезли, говорит он, слегка приглушая голос.

Одиннадцать? — повторяет корчмарь. Хм… Для товара — мало, для багажа — многовато.

Говорю вам: одиннадцать. И беречь их надо было, как пасхальные яйца.

Кроме проводника и корчмаря, в пивном зале

сидят еще семеро. После слов проводника у пятерых останавливается взгляд, на лбу появляются озабоченные морщины. Надо бы побежать домой, предупредить семью, мол, пахнет жареным. Ведь если приехали эти, то, может, появятся и другие. А когда их будет больше, рано или поздно потребуют назад все, что сами отдали на хранение или что поменяло хозяев без их участия.

Однако из семерых поднимается из-за столика лишь один, и то делает вид, будто ему все равно пора. Это бывший механик, инвалид: летом сорок третьего, во время жатвы, ему правую руку оторвало на молотилке. Он-то, правда, ничего не брал из опустевших домов, но, как другие многодетные, подал заявление, чтобы ему выделили бесхозное жилье, и ему, учитывая увечность, разваливающуюся лачугу, пятерых детей и сына, павшего смертью храбрых на Восточном фронте, один из бесхозных домов таки выделили.

Инвалид с застывшим лицом платит за пиво и молча уходит. Нет в жизни справедливости, думает он. Если вернутся прежние хозяева, придется с позором убираться из своего дома. Хотя он к ним сроду ничего не имел; разве что завидовал, что умеют деньги копить, что тяжелой работы меньше делают, что детям их будущее обеспече-

но. Он бы сам и пальцем не пошевелил, чтобы чужое добро присвоить; но уж коли судьба так распорядилась, что дома их остались пустыми, он без всяких угрызений совести вселился в чистенькое, побеленное жилье.

Оставшиеся в корчме догадываются, почему калека ушел домой. У них в душе тоже шевелятся всякие опасения.

Во всяком случае, хорошо бы узнать, кто приехал и кого еще ждать, думают они. Мысли у них сейчас вполне деловые.

Одного, старого, зовут Германн Шамуель, а как второго зовут, неизвестно, с готовностью объясняет проводник. Он понимает их трудное положение и рад помочь.

Люди в корчме с облегчением переглядываются: имя вроде незнакомое. Но радоваться пока рано.

Может, эти в соседней деревне жили? Тогда чего их сюда принесло?

Стало быть, всего двое? — спрашивает корчмарь. И остальные опять чувствуют некоторое облегчение: не им пришлось задавать этот важный вопрос.

Ну да, двое; железнодорожник вытирает пивную пену с усов.

А сказали, зачем приехали-то?

В самом деле, ничего не говорили?

Говорить ничего не говорили, со значением, чувствуя, что теперь он в центре внимания, отвечает проводник. Но вот то, что они привезли, гладит он себя по лбу, это кое-что уже говорит.

А что… что они привезли?

Парфюмерию. Крупной партией.

Парфюмерию?

Крупной партией?

Ага, парфюмерию. Ну там, пудру, одеколон, все такое. Для баб, в общем, всякий товар.

Стало быть, у господина головы денек будет горячий, задумчиво говорит корчмарь, вытирая тряпкой прилавок. Сочувствия у него на лице не видно: в голосе слышится скорее некоторое злорадство.

Ему никто не отвечает. Все они тут — люди маленькие; есть и один-два инвалида, кроме ушедшего механика, — эти, правда, инвалиды войны. В общем если они что и думают по этому поводу, то со своим мнением высовываться не станут. Да и не очень-то у них есть мнение. Запутано тут все, лучше об этом не говорить, еще лучше — не думать, а самое лучшее — вообще ничего не знать… Но про себя они понимают: ес-

ли у них неприятности могут быть из-за всякого там барахла, то все это — пустяк по сравнению с парфюмерной лавкой, которая раньше принадлежала Тёрёку, а теперь в ней хозяйничает Арпад Шемьен…

Пока в корчме, склонившись над кружками, люди молча прикидывают, что может случиться, странная процессия медленно двигается по главной улице. На козлах — возчик с зятем, на подводе — ящики штабелем. За подводой шагают двое приезжих; женщинам, которые смотрят на них тревожными глазами из окон домов, стоящих вдоль улицы, эти двое кажутся привидениями. Приезжие тоже идут молча; если кто-нибудь мог бы сейчас окинуть деревню одним взглядом, видя и слыша все, даже самые тихие звуки, он был бы поражен: призрачное шествие двигается в полном безмолвии и неподвижности. Даже в полях работа сейчас стоит: жнецы, съев принесенную с собой еду, молча лежат в тени дубов, окаймляющих поле; в давящем зное и разговаривать неохота.

Подвода проезжает мимо корчмы. Посетители все как один собираются у окна, у дверей, провожая взглядом приезжих. Прямо во́роны черные, шепчет кто-то, облизывая пересохшие губы.

Эти всегда сами на себя беду накликают, говорит проводник; он и дальше пытается остаться в центре внимания, словно то обстоятельство, что он ехал с пришельцами в одном поезде, наделяет его каким-то особым знанием касательно их предыдущей жизни, а заодно и будущей. Ему хочется соответствовать ожиданиям; но, высказав то, что пришло в голову, он торопливо косится на слушателей: нет ли в их глазах осуждения?

Ну вернулись и вернулись, пожимает плечами корчмарь. Ему-то беспокоиться нечего. Он у этих бедолаг ничего не взял. Более того, за хорошие деньги купил у одного из них и корчму, и разрешение на торговлю спиртным, разрешение, которое прапрадед прежнего владельца приобрел еще в середине прошлого века.

Посетители в основном угрюмо молчат. Не так все это просто, размышляют они, думая о мебели, постельном белье, одежде, коврах, которые летом прошлого года по дешевке купили на распродаже, устроенной на рыночной площади. У них мелькает мысль: каково будут чувствовать себя прежние владельцы, если, вернувшись в село, увидят свое нажитое добро у чужих?.. Людям стыдно, но в то же время их злит это чувство, они яростно протестуют против него. Чего тут

стыдиться-то? — спрашивают они себя, и злость их обращается против тех двоих, чье появление как бы служит зловещим предзнаменованием, предвещая возвращение остальных, о ком они, наслушавшись всякого, думали, что им уже никогда не вернуться.

Подвода же двигается вперед. Копыта лошаденки глухо и монотонно стучат по асфальту, взбивая маленькие облачка пыли. Возчик с зятем рады были бы куда-нибудь деться с козел. Они чувствуют на себе угрюмые, недоброжелательные взгляды, устремленные на них из дверей корчмы… Еще бы им их не чувствовать: не сиди они тут, на чертовой этой подводе, они сами бы так же смотрели на приезжих.

Михай Шуба, понурив голову, помахивает кнутом, не глядя ни влево, ни вправо. Особенно — вправо; он старается спрятаться за зятем, чтобы не надо было здороваться с односельчанами. Пока процессия движется мимо, все молчат. Молчат и люди в дверях корчмы, застыв подобно статуям. Лишь когда подвода достигает следующего угла, они меняют позы, вертят головой, даже делают шаг вперед — чтобы видеть, что произойдет, когда подвода приблизится к парфюмерной лавке. Все чувствуют: этот момент определит, как будут

развиваться события, как потечет их дальнейшая жизнь.

А в парфюмерной лавке, за опущенными жалюзи, сидят, избегая смотреть друг на друга, голова и его сын. За те минуты, что они провели вдвоем в полутемной лавке, для них обоих стало очевидным: отношения их отныне будут иными. Пускай Арпад снова откроет лавку — он все равно теперь знает, что отец его хоть и всесилен, но не лишен слабостей, что он тоже испытывает сомнения, а главная его слабость как раз в том, что сомнения эти он пытается спрятать, замаскировать под силой. Сыну ясно теперь: чтобы стать взрослым, он должен покинуть это село, бросить все, что досталось ему без всяких усилий, избавиться от всего, что, как он сейчас ощущает, не дает ему свободно дышать. Первым делом он должен пойти в соседнюю деревню, и постучаться у подворья Хорусов, и сказать Эстер: вот смотри, я пришел к тебе, потому что не могу по-другому, хочешь, уйдем вместе куда глаза глядят? И тут уж не так важно, что ответит ему Эстер: ведь если он способен выполнить, что задумал, о чем мечтал, чего хотел, если смел мечтать, дать волю фантазии, если смог и в реальности сыграть роль в том фильме, который столько раз прокручивал в сво-

ем воображении, — значит, он достиг того, что человек должен и может достичь в своей жизни. Если он способен на это, встретившись с Эстер, значит, способен будет и при встрече с любой другой… если Эстер скажет ему «нет». Никто и никогда не обещал ему, что жизнь будет сплошным праздником, но теперь он уже знает: ее все-таки можно вынести, потому что все на свете можно свести к тривиальной схеме вечного круговорота смерти и возрождения. И, приняв все то, что ему запрещали, от чего ограждали, от чего предостерегали, чему все вокруг противились, он как раз и сумеет добиться к себе уважения, и даже отец с матерью, если даже сто раз от него отрекутся, все-таки будут его уважать. За то, что, несмотря на все их старания и несмотря на все поучения, которые как бы этим стараниям противоречили, он станет взрослым.

И тут Арпад Шемьен разражается громким смехом. От того, что он додумал эту мысль до конца, от того, что посмел мечтать, фантазировать, он чувствует огромное, до сих пор не изведанное облегчение. Подобное облегчение испытывает человек, выбравшись из лабиринта, хотя до сих пор он и не подозревал, что заблудился… На этой земле нет ничего невозможного, это он уже знает.

И нет ничего невозможного в том, что сейчас, через секунду, он скажет отцу то, что скажет, показывая на разложенные товары, приготовленные к открытию лавки.

Батя, делайте, что хотите. А я ухожу. Я вас с мамой люблю и чту, но я должен жить своей жизнью, а не вашей. Что касается лавки, то все бумаги и книги — в шкафу, там вся бухгалтерия. Я себе взял только жалованье. Все записано в книгах.

И, сказав это, снимает с вешалки льняной пиджак, надевает шляпу и выходит на залитую солнцем улицу. Тяжелый, густой, лежит на домах, на деревьях июльский зной, но Арпад идет легкой, свободной походкой, сунув руки в карманы, словно избавился от невероятного груза, что висел у него на плечах.

Иштван Шемьен озадаченно смотрит вслед сыну, не в силах сообразить, нужно ли его окликнуть, остановить — или не нужно. Он стоит в открытой двери и не знает, что делать. Тщетно пытается он подавить свои противоречивые чувства: он сердит, но в то же время, как это ни странно, гордится сыном, который, впервые в жизни, поступил как настоящий мужчина. Иштван Шемьен догадывается, конечно, что

за всем этим прячутся чувства к Эстер Хорус и что сын, скорее всего, останется с носом, а значит, рано или поздно вернется домой; но в душе Иштвана Шемьена вдруг оживает давнее-давнее воспоминание: однажды он тоже бросил все из-за девушки, хлопнул дверью родительского дома и ушел. Но все это вместе: и отцовская тревога, за которой стоит печальный собственный опыт, и сочувствие — ведь, скорее всего, будет Арпаду от ворот поворот, — и некоторая неосознанная ревность — а вдруг сыну удастся то, на чем он, отец, провалился, — смешивается в его душе таким путаным, противоречивым клубком, что сразу разобраться во всем этом нечего и надеяться.

Он растерянно закрывает дверь. Сын прав, он должен оставаться здесь. Именно здесь его место. Ведь он, Иштван Шемьен, хотел этого; как бы там ни складывались дела, ответственность на себя тоже брать должен он…

Арпад Шемьен шагает по направлению к станции. Навстречу движется подвода, груженная ящиками. Он первым приветствует сидящих на козлах односельчан; такого еще не бывало, чтобы он, сын головы, первым здоровался с сельчанами. Приподнимает шляпу перед двумя приезжими в черном. Те кивают в ответ, и ему этого достаточ-

но. Он хотел встретить их и поприветствовать: этим он словно возвращает какой-то долг. Такую встречу он тоже себе представлял, стоя за прилавком. Представлял — и вот оно, чудо: встреча произошла! Этот миг для Арпада Шемьена — миг счастья. Существует ли что-либо важнее, значительнее, чем мечтать, фантазировать — и в один прекрасный момент осуществить то, что задумано?.. Теперь Арпад спокойно пойдет домой, сядет на велосипед и покатит в соседнюю деревню, к Эстер.

Люди, стоящие перед корчмой, не знают, чем объяснить странное поведение Шемьена-младшего и его уход; появление Шемьена-старшего тоже привело их в недоумение. Они только головами вертят, наблюдая за происходящим. А подвода тем временем уже перед парфюмерной лавкой. Михай Шуба натягивает вожжи, лошаденка останавливается. От корчмы до этого места — метров семьдесят, так что люди всё увидят, услышат каждое громкое слово. Замерев, затаив дыхание, они ждут, когда приезжие войдут в лавку. Но подвода, остановившись, тут же трогается и едет дальше.

Люди у корчмы в полной растерянности. Правда, сам Михай Шуба тоже ничего не может

понять. Все в нем кипит от недоумения, от противоречивых мыслей и чувств. Иштван Шемьен обеспечивает его работой, так что он, Михай Шуба, пусть ненадолго, должен служить, на старости-то лет, тем, кто приехал, должен помочь им выставить односельчан на посмешище, выгнать их из домов, где они живут, выгнать сына сельского головы из лавки, где тот торгует уже несколько лет… Михай Шуба не может разобраться во всей этой катавасии — и ему страшно. Он боится Шемьена, боится односельчан, но больше всего боится этих двоих, что идут за телегой. Большая, должно быть, сила за ними стоит, раз они вот так, вдвоем, не побоялись приехать сюда, откуда год назад их увозили с таким позором… Приехали, чтобы получить назад то, что принадлежало им! Михай Шуба и сам теперь трудится на земле, которая пару лет назад принадлежала другим. Еще бы ему не бояться возвращения прежних хозяев! Год назад, правда, ему казалось: это уж слишком, что людей выгоняют из их домов и увозят Бог знает куда… Хотя то, что часть их имущества отдают таким, как он, казалось ему справедливым… Разве правильно, чтобы у них было все, а он, у кого прадеды гнули спины на этой земле, жил в нищете, голоде и холоде?

Сейчас он так напуган и растерян, что вообще уже ничего не соображает. А те двое машут ему: поехали, мол, чего встал?

Так куда ж теперь? — спрашивает он удивленно.

Вы знаете, где тут была синагога? — спрашивает тот, кто помоложе.

Ваша, что ли?

Наша, наша.

Знаю, конечно. Она и сейчас стоит.

А ешива?

Это где учились?

Ну да.

Тоже знаю.

Вот туда и поедем.

Возчик все еще в недоумении. Но теперь хотя бы известно, куда двигаться. Он щелкает кнутом, подвода трогается. Кто платит, то и песню заказывает, передергивает Михай Шуба плечами. Ему все равно, куда ехать. Лишь бы приехать куда-нибудь.

Иштван Шемьен наблюдает сцену, стоя за витриной лавки. Он тоже в недоумении. Какого дьявола они хотят? Проехать парадом вдоль всей деревни? Всем утереть нос: вот, мол, мы, прибыли, с полной телегой товара?.. И уж после этого

занять то, что им по праву принадлежит? Вроде того гладиатора с картинки из учебника истории: сначала он совершал круг почета вокруг арены в Колизее, а потом возвращался к поверженному противнику, чтобы нанести ему последний удар. Теперь им легко — с русскими-то автоматами за спиной…

А ведь прежде он знал их совсем иными. Парадности, шума они никогда не любили, старались дела свои улаживать в тишине, потому что понимали: не слишком доброжелательно на них смотрят люди… Хотя, кто знает, что они чувствуют после того, что с ними произошло? И что собираются делать…

Теперь вот дальше поехали. Что это значит? На лавку даже не посмотрели, будто их это не интересует… Иштван Шемьен стоит, опершись на прилавок; рубашка на спине, под легким летним пиджаком, промокла от холодного пота. Ноги слабеют, ему приходится сесть. Он наливает стакан воды из кувшина, стоящего на столе. До этого момента, готовясь к решительной схватке, он подавлял в себе нервное напряжение, отгонял сомнения; теперь же вся злоба против непрошеных пришельцев, копившаяся в нем и лишь раздуваемая ожиданием, не имея возможности

выплеснуться на них, обращается против него самого. В сердце колет, воздуха не хватает, руки и ноги дрожат; он весь полон ненависти: ведь это они — причина всему, они, потому что объявились, потому что вернулись, потому что вообще существуют.

Подвода сворачивает в переулок. Михай Шуба показывает кнутом на дом, у которого нет окон, выходящих на улицу.

Тут вот молились, а там, в том доме, учились.

Приезжие подходят к ограде, смотрят на молитвенный дом. На крыше его — дверца, выходящая в небо: должно быть, прежним хозяевам это напоминало шатры, в которых этот народ ночевал, путешествуя по пустыне; может, они и свой праздник Кущей встречали на чердаке, закрывая проем камышом. Сейчас дверца распахнута: видно, кто-то открыл ее, чтобы хоть немного проветрить неиспользуемое больше года помещение. То, что было временным, становится постоянным, наверное, думают они сейчас; а может, не думают, просто стоят… Потом возвращаются к подводе: надо ехать.

Теперь куда? — с опаской спрашивает Михай Шуба.

На кладбище, отвечает молодой.

Возчик взмахивает кнутом.

Молодой вопросительно смотрит на старшего. Тот кивает; тогда молодой начинает тихо петь что-то. Слышит его только пожилой; а может, и он не слышит: просто он знает эту мелодию, знает уже добрых шестьдесят лет. Постороннему человеку пение это показалось бы просто жалобным причитанием, протяжным стоном, плачем.

Михай Шуба с зятем сидят на козлах, не оборачиваются. Их не касается, что происходит у них за спиной. Тем более — что говорят приезжие на непонятном языке… Вроде даже не говорят, а поют. О чем они поют, ни Михай Шуба, ни прочие односельчане не знают; правда, они никогда и не спрашивали. Да и какого ответа тут можно ждать? Тут и слов-то, поди, не подберешь…

Пение едва слышится, а иной раз совсем замирает, и лишь движение губ выдает, что молодой приезжий продолжает начатую песню. Или молитву… Пожилой иногда кивает, иногда сам подпевает, а иногда лишь головой качает взад-вперед: то ли соглашается, то ли спорит, не поймешь.

До кладбища ехать недалеко. За околицей, к востоку от села, на неровном участке земли, участок, отгороженный от проселка низкой ка-

менной оградой. С кладбища открывается даль, границу которой определяет лишь линия горизонта. Это лучшая земля в окрестностях села; Михай Шуба никогда не мог понять, почему под погост отвели именно этот участок. Остальные покойники лежат не в этом месте. Тоже чудеса, думает он.

Остановившись перед воротами, они открывают ржавые створки.

Снимайте ящики и несите туда.

Приезжие показывают на каменное строение: там обмывают покойников.

Михай Шуба покорно слезает с козел. Ему уже и спрашивать не хочется ничего: только бы поскорее закончилась странная эта работа. Одиннадцать ящиков сложены на земле.

Заступы есть?

Сказали, так мы захватили.

Тогда копайте могилу. Два метра в длину, один в ширину. И глубиной два метра. Скажем, здесь… Пожилой показывает на поляну перед первым рядом надгробий… От ворот это все же далековато.

Михай Шуба вскидывает голову. И впервые с тех пор, как они отъехали от станции, смотрит в глаза этим чудакам. Что это они задумали? Кого хотят хоронить? Слышал он в детстве, что эти

берут кровь христианских младенцев и подмешивают в свою мацу, которую на Пасху едят… Но Пасха давно прошла, младенцев никаких вокруг нет… Да и не похожи они на людей, которые способны чужую кровь пить. Россказни те он не понимал, но ему было страшно. Правда, все знают, что для этих кровь — не пища. Кровь — это для них все равно что душа.

Могилу? — переспрашивает он недоуменно.

Ну да, могилу.

Михай Шуба и зять смотрят друг на друга. Зять по-прежнему молчит; от него вообще слова не дождешься. Зять думает лишь о том, какая это работа — вырыть такую яму. В такую жару! Если бы он мог выбирать, выбрал бы что-нибудь другое…

Взяв с подводы заступы, они идут на поляну.

Тут годится? — спрашивает Михай Шуба севшим голосом. Он вспоминает, что на фронте пленных заставляли вырыть могилу, а потом расстреливали и сбрасывали туда. У этих, правда, оружия нет…

Тут нормально, кивают приезжие.

Михай Шуба с зятем принимаются копать. Жилеты они скинули, но снять рубашки не смеют, хотя солнце шпарит безжалостно. Эти вон — в пиджаках и шляпах; правда, они только ящики

открывают.

Пока идет работа, из-за ближних домов на околице выходит группа людей. Это — жители села, человек десять — двенадцать; ведет их голова, Иштван Шемьен. На почтительном расстоянии от ворот они останавливаются. Ага, эти в самом деле на кладбище приехали.

Михай Шуба в яме уже по пояс; приезжие вскрывают последний ящик. Работают они молча, слаженно, словно не впервые этим занимаются. Откуда-то появляются полосатые молитвенные платки. Приезжие расстилают их на выгоревшей, сухой траве рядом с ящиками. В руках молодого, щелкнув, раскрывается складной нож. Михай Шуба, услышав звук, поднимает голову. И видит, как молодой приезжий, присев возле платков, разрезает их на куски.

За низкой каменной оградой стоят с вытянувшимися лицами сельчане.

Словно почувствовав, что на них смотрят, чужаки поднимают глаза.

День добрый, приветствует их Иштван Шемьен.

Те, не ответив, только кивают в ответ; потом, переглянувшись, продолжают свое дело. Подтаскивая к расстеленным платкам ящики, они

принимаются вынимать содержимое. Это — прямоугольные куски разноцветного: серого, розового — мыла с четкими буквами: RIF. Сокращение обозначает: Reichstelle für Industrielle Fätte und Wachsmittel[19]. Однако в их мозгах три буквы расшифровываются совсем по-другому: Reines Israelitisches Fett[20].

Работа идет быстро, каждый ящик опорожняется за несколько минут. Сложив мыло из ящика на платок, они поднимают углы и завязывают их. Сейчас и у них лица — красные, со лба льется пот.

У Михая Шубы из ямы показывается только макушка, когда он выкидывает заступом землю. А на траве лежат одиннадцать полосатых узлов.

Все? — спрашивает пожилой, вытирая лоб.

Все. Молодой для уверенности осматривает ящики. Всего тысяча четыреста семнадцать кусков. Я считал.

Они идут к могиле, помогают Михаю Шубе вылезти. Потом подтаскивают к могиле узлы. Теперь в яму спрыгивает молодой. Из кармана своего пиджака он вытаскивает еще один маленький

---

[19] Примечания: 19
Имперское бюро промышленных жиров и моющих средств (*нем.*).

[20] Примечания: 20
Чистый израильский жир (*нем.*).

узелок: это носовой платок, в котором горсточка иерусалимской земли. Он рассыпает ее на дне. Пожилой подает ему по одному узлы с мылом.

Только смотри осторожно, беспокойно говорит он.

Молодой размещает в могиле узлы; ему помогают вылезти наверх. Он немного растерянно смотрит на пожилого, словно ждет каких-то слов, от которых ему станет легче, но тот молчит. Вместо этого наклоняется к груде вырытой земли, берет горсть и бросает ее в могилу. Молодой делает то же самое. За оградой молча стоят сельчане. Михай Шуба, не выдержав, сдавленным голосом спрашивает:

Скажите хоть, почему ровно столько?

Столько их было, из окрестных деревень, отвечает старик, стараясь, чтобы голос его звучал бесстрастно; но глаза его, когда он смотрит на Михая Шубу, затуманиваются. В них как будто мелькает надежда на сочувствие, на понимание… Он быстро вытирает глаза и, кашлянув, говорит:

Закапывайте!

Михай Шуба с зятем работают споро. Молодой приезжий, оглянувшись на старого, подходит к нему: вдруг тому понадобится помощь, но старик стоит спокойно, невозмутимо. Шуба с зятем

подравнивают холмик, потом уносят заступы и бросают их на подводу.

Молодой приезжий подходит к ним, вынимает из внутреннего кармана бумажник, расплачивается. Вернувшись к могиле, некоторое время стоит рядом со стариком, потом трогает его за плечо:

Мир музн гейн, тате[21].

Старик поворачивается и молча направляется к воротам. Когда они выходят, Иштван Шемьен, отделившись от остальных зрителей, приближается к ним.

Позвольте мне от имени села выразить вам сочувствие. Мы подумаем о том, как достойно сохранить память о жертвах.

Германн Шамуель с минуту колеблется, принять ли протянутую руку. Затем, смирившись, кивает и отвечает на рукопожатие.

Уход за всем кладбищем мы, конечно, взять на себя не можем, но сделаем для этого все возможное. Особенно если получим какое-нибудь вспомоществование, говорит голова.

Молодой приезжий стоит за спиной старика, лицо его, поросшее щетиной, скрыто в тени шля-

---

[21] Примечания: 21
Надо идти, папа (*идиш*).

пы, и никому не видно, как оно подергивается. Старик щурится и вынимает свою руку из чужой ладони. Смотри-ка, опять его чуть не сбили с толку… Но этот тон ему хорошо знаком. Окинув взглядом лица людей, стоящих у Шемьена за спиной, он отвечает:

Спасибо. Я что-нибудь предприму.

Словно сквозь строй, два человека в черных шляпах и черных костюмах идут по улице, примыкающей к кладбищу. Поворачивают направо, минуют молитвенный дом и ешиву, выходят на главную улицу и, пройдя ее до конца, шагают по аллее пирамидальных тополей к железнодорожной станции.

Они ни разу не оглядываются назад, но все время чувствуют на своих спинах взгляды жителей села.

В годы Второй мировой войны английская пропаганда распространяла слух, будто из останков людей, погибших в лагерях смерти, нацисты варят мыло. Исторические разыскания этого не подтвердили; однако после 1945 года во многих местах совершалось символическое погребение мыла.

Лагерный Микулаш

Снег.

Падает снег.

Белый, мягкий, пушистый снег.

Марци прижимается носом к стеклу.

Микулаш, сопя, затягивает на башмаках ремни лыжных креплений. На нем красная куртка на вате, такие же штаны, на голове красный колпак. Он старый, как дедушка; нелегко ему нагибаться, когда он надевает лыжи. Да и суставы, наверно, болят, как у дедушки… Может, ему помочь надо; дедушке вон всегда кто-нибудь калоши помогал надевать. Микулашу наверняка тоже кто-то помогает: ведь если в такой теплой одежде понагибаться, обязательно вспотеешь и тогда как пить дать простынешь, температура поднимется, миндалины воспалятся… Как он тогда доедет на лыжах из Финляндии в Венгрию? Это же далеко очень, папа показывал Марци на глобусе. Папа все время ругается с мамой: нельзя ребенка так кутать, когда он идет на санках кататься: вниз съехать еще куда ни шло, а вот наверх подниматься с санками — верный путь к простуде.

А правда, кто помогает Микулашу надевать лыжи? И кто за ним ухаживает, когда он болеет?

И еще: у Микулаша есть папа? Чем он занимается? Или он уже на пенсии? Микулаш-пенсионер…

Не забыть папу об этом спросить. Маму спрашивать бесполезно, мама с тех пор, как они здесь, все время только грустит да нервничает. Что Марци ни попросит, ни спросит, все нет да нельзя. А насчет того, почему они здесь и когда наконец вернутся домой, чтобы встретиться с папой, она вообще молчит. Да еще дерется; хорошо хоть не сильно и не больно. Папы, правда, тоже сейчас дома нет, мама все время говорит это, будто утешить хочет. А кого этим утешишь? Марци ей так и сказал: они же могут ждать папу дома. Мама ничего не ответила, но потом, когда за что-то осердилась и шлепнула его, ему показалось, что шлепнула больней, чем всегда. Так что он на нее теперь тоже сердит и ни о чем с ней старается не говорить. Вот вернутся домой, и он папе расскажет всё-всё. И про кислый хлеб, и про несладкое варенье, которое тут называется мармеладом, и про ужасно невкусный суп, «дёргемюзе»; от этого супа Марци воротит, а мама каждый раз кричит на него, заставляет есть чуть ли не насильно. И

еще он папе пожалуется, как это обидно и несправедливо, что у него тут нет своей кроватки, как дома, и спать ему приходится между мамой и бабушкой, на острых ребрах нар, и ночью ему больно бока, а если одеяло под себя подложить, то холодно.

Так плохо никогда еще не было.

Так плохо не было даже в тот день, когда мама и папа очень сильно поссорились, кричали, даже толкали друг друга, а его, Марци, прогнали на кухню, откуда он ничего, конечно, не видел, зато слышать всё слышал, даже те нехорошие слова, которые ему нельзя произносить. Да, тогда он тоже чувствовал себя хуже некуда, даже кричал, чтобы они перестали сейчас же, только все было бесполезно, они всё ругались, и он переборол в себе страх и распахнул дверь, чтобы сказать им, что так нельзя себя вести, так даже дети в детском саду себя не ведут… а когда дети все-таки ссорятся, он вмешивается, потому что не может смотреть, когда кого-нибудь бьют, особенно если девочку, папа и сам ему однажды сказал, что женщин — он так и сказал: женщин, хотя Марци говорил ему только про Юльчи да про Иби, которые никакие не женщины, а всего лишь девчонки, — женщин нельзя обижать, потому что они хрупкие, и Мар-

ци сразу представил, как он стукнет, скажем, Юльчи, и она рассыплется на кусочки, как стекло в окне, когда он однажды попал туда мячом; нет, это было даже страшно себе представить: хрупкая Юльчи вдруг рассыпается на множество мелких осколков… Особенно страшно, что именно Юльчи… у Юльчи белокурые, толстые, мягкие косы, их так приятно взять в кулак, сжать и подергать; даже если Юльчи визжит, все равно приятно… Об этом он думал, когда распахнул дверь и тоже завизжал и закричал: перестаньте сейчас же, и бросился между ними, чтобы разделить их и чтобы мама не рассыпалась на кусочки, и они вдруг замолчали, папа взял его на руки, а Марци смотрел, испуганно моргая, то на папу, то на маму, и в горле у него стоял какой-то комок, и он не мог поверить, что на самом деле помирил их, и, глядя на их растерянные улыбки и смягчившиеся лица, не знал, плакать ему или смеяться.

Так плохо не было даже в тот день, когда он несколько часов прятался в парке, а потом, вернувшись домой, пригрозил маме, что уйдет из дому, и вечером, когда пришел папа и мама все ему рассказала, они положили в его рюкзак булочку, яблоко, свитер и мишку, дали рюкзак ему в руки, подвели к двери и сказали: пока, Марци,

отправляйся. Ему казалось, дом тут же рухнет, но дом даже не пошатнулся, а Марци сидел на крыльце, смотрел на звездное небо и понятия не имел, что будет с ним дальше. Ту ночь он никогда не забудет. Он выдержал характер, не позвонил в дверь, чтобы попроситься обратно, хотя сильно замерз и боялся темноты. Проснулся он на руках у папы; еще он помнил, что мама раздевала его и лицо у нее было все в слезах.

Так плохо не было даже в поезде, в набитом до отказа вагоне, где стояла густая вонь, и прямо перед чужими людьми надо было ходить по-маленькому и по-большому, и взрослые тоже так делали, и даже мама; правда, она велела ему закрывать глаза, но других-то он видел; к тому же было очень тесно, а мама отказывалась взять его на руки, и он спал на полу и все время боялся, что кто-нибудь на него наступит. И взрослые очень плохо себя вели, даже хуже, чем дети в детском саду, когда раздавали завтрак и какао доставалось только половине очереди, а остальные должны были пить молоко. Люди в вагоне толкались, ругались, даже били друг друга. Правда, в поезде все-таки что-то происходило, куда-то они ехали, не то что здесь, где никогда ничего не случается, целый день сидишь в бараке один, играть можно

только какими-то деревяшками и всякой ерундой; ну, иногда приходит девчонка из соседнего барака, она там тоже одна, но она почти все время болеет, да у нее игрушек тоже нет, одни только куклы, ни машинок, ни ружья; ружья и у Марци нет, есть только одна машинка, зато это — «Форд Т»; у него, правда, колесо отвалилось — слишком много Марци его гонял по полу, а девчонка из соседнего барака смотрела и ухмылялась ехидно: мол, чего ты рычишь и гудишь, все равно это не настоящая машина. Дура, что с нее взять? Девчонка. Не каждой же быть такой классной, такой стройной, как Юльчи. Но Юльчи — она одна, и это очень жалко, а еще жальче, что ее тут нет, а он, Марци, здесь, только не знает зачем.

Так плохо не было, даже когда сказали, что дедушка уехал… Тогда мама тоже плакала. Папа то ее гладил, то бабушку, которая тоже была вся в слезах; в доме зажгли свечи, а Марци сказали только: дедушка уехал. Куда уехал? Надолго ли? Далеко и надолго, ответила мама и обняла сына. Марци чувствовал, тут что-то не так: если раньше дедушка с бабушкой уезжали летом в Хевиз или в Тренчентеплице (это слово Марци любил повторять много раз подряд: тогда оно становилось бессмысленным и казалось даже

каким-то неприличным), то вовсе не надо было завешивать зеркала, да дедушка и не ездил никуда один, даже на день, а тем более надолго, и мама тогда не шептала папе: ты хоть обувь-то сними, уж такой пустяк ты можешь ради меня сделать! Ему, Марци, она всегда делала замечание, если он дома бегал в одних носках: дескать, так не полагается, без обуви. Ну кто их разберет? Наверно, есть вещи, о которых взрослые не говорят детям не потому, что те не могут этого понять, а потому, что взрослые их сами не понимают. Например, когда мама, желая успокоить Марци, говорит, что папа уехал не так, как дедушка, просто неизвестно, когда он вернется… Что, он приедет за нами в лагерь? Нет, качала головой мама, сюда он не может приехать, и вид у нее был такой печальный, что Марци приходилось ее утешать. И он опять чувствовал, что тут что-то не так.

Ладно, папа не может сейчас приехать… Но Микулаш-то — может! Возможно ли такое, чтобы Микулаш забыл, что его где-то ждут? Вообще-то было бы странно, если в воротах лагеря, где стоят немецкие солдаты, которые размахивают винтовками и кричат каждый раз, когда входит или выходит колонна, если в этих воротах вдруг появится северный олень, запряженный в сани.

Наверно, сюда даже он не посмеет приехать. Возможно, его сюда и не впустят…

У Марци сжалось сердце. Да, так плохо, кажется, никогда не было. Холод, дёргемюзе, щель между нарами — все это ничего. Но то, что сюда, в лагерь, не приедет Микулаш…

Марци оглядывается на маму. Вот было бы здорово, если бы она подмигнула вдруг и сказала, мол, ты все-таки выставь в окно сапожок, вдруг там утром окажется какой-нибудь подарок… Все в бараке сидят на своих нарах, тихо занимаются своими делами. Вечером люди усталые, им не до разговоров; тишину нарушают разве что внезапно вспыхивающие ссоры. Бабушка лежит наверху. Иногда она целыми днями не шевелится, даже не разговаривает, редко-редко что-нибудь скажет. Из барака выходить строго запрещено. Только мама порой выводит Марци погулять. Но такое случается нечасто, да и на улице играть все равно нельзя — только тихо дышать свежим воздухом.

Мама сидит на нарах, молча зашивает рубашку. Она здесь почти не разговаривает, даже с ним, Марци, мало и неохотно. Вечером она всегда усталая и мрачная. Если Марци не спрашивает ее про папу, сама она эту тему не трогает; можно

подумать, она вовсе не скучает по нему. Марци уже и не ждет, чтобы она занималась с ним, а потому очень редко плачет и капризничает. Знает, что ничего этим не добьется, ничего от этого не изменится… Девочка в соседнем бараке опять болеет, не придет играть. Что с ней, никто не говорит, и никто не знает, скоро ли выздоровеет; это тоже плохо: больше тут играть не с кем. Мама рано утром уйдет с другими на фабрику, а домой вернется, когда уже будет темно… Домой — потому что сейчас они живут здесь. Когда они жили дома, приходить домой было совсем другое дело. Правда, бывает и дома плохо; так что нельзя сказать, что это не дом. Только бы не было так скучно!..

Можно подумать, они какое-то наказание здесь отбывают… В сказках Баба-Яга тоже забирает детей и держит их в своей избушке. Но что они сделали плохого? Видно, мама с бабушкой что-то все-таки натворили, чего нельзя было, и теперь их наказали вместе с другими, а он тут с ними, потому что нельзя было оставить его дома одного. Папа… про папу совсем невозможно представить, чтобы он сделал что-нибудь, чего нельзя делать: папа человек серьезный. Потому и не попал сюда. Он на фронте, родину защищает. Пока они жили

дома, он работал с утра до вечера, на столе у него были важные бумаги, которые ни в коем случае нельзя было трогать. Папа — адвокат, защищает невиновных. На книжной полке у него — все законы, какие только существуют на свете. В законах написано, что можно и чего нельзя, — как у детей, когда они играют в свои игры; в общем, папа точно знает, что можно делать. Правда, мама и про него раньше говорила, что его увезли на Украину, как их с Марци сюда, в лагерь; но это все же другое. Марци не знает, что они натворили, но натворили, видно, что-то гораздо хуже того, за что детей ставят в угол, больше того, за что с ними не хотят разговаривать и смотрят на них как на пустое место, или еще хуже: как на какое-то вонючее, скверное пустое место. Но что бы они, мама и бабушка, ни сделали, он, Марци, их должен простить, даже если ему и приходится из-за этого быть здесь, в этом лагере; ведь и с ним бывало, что он плохо вел себя и его за это наказывали, но это не означало, что его совсем перестали любить. Он тоже их любит. И папу, и маму. И даже бабушку, хотя все-таки сердит на них за то, что из-за них его тоже депортировали. Но все равно, пускай взрослые плохо себя вели: к нему-то Микулаш мог бы приехать! Несправед-

ливо ведь детей наказывать из-за взрослых, что бы там взрослые ни натворили, потому что дети не виноваты, если родители плохо себя ведут… Правда, родители тоже не виноваты, если ребенок у них шалит и не слушается.

Или, может, он тоже что-нибудь сделал не то? Бывает такое: ты сделаешь что-то, а сам даже не догадываешься, что это плохо? Да нет, он, Марци, всегда, к сожалению, чувствует: то, что он делает, плохо и его за это накажут. Чувствует, просто остановиться не может.

Одного он никак, ну никак не может понять: почему за плохое поведение наказывают только евреев, почему только они должны в наказание носить желтую звезду на груди, почему только им нужно уехать из дома и жить здесь? Вон в детском саду — другие дети тоже плохо себя вели, но там, к счастью, их тоже наказывали. И он ни за что не поверит, что из взрослых только евреи совершают что-то такое, за что полагается депортация. Дети, те еще хуже. Например, Колония со второго этажа; он часто приходит к ним на четвертый, встает на галерее и плюется оттуда на двор. А то еще было почище: подошел к слепому нищему, что сидит на углу, и украл у него из шапки мелочь, да еще и палку, которая стояла у

стены, отнес в сторону, чтобы тот ее не нашел, когда встанет, и споткнулся о нее. Марци все видел из подъезда. Вот уж это в самом деле никуда не годится. Вот за это бы надо наказывать по-настоящему. Марци такое бы ни за что не сделал; хотя плеваться сверху попробовать и ему хотелось… А все-таки приятно представить, как выглядел бы Колония здесь, в лагере, с ярко-желтой звездой на груди, среди преступников.

— Марци, отойди от окна!

Марци обижен: почему мама с ним так разговаривает? Будто это он виноват, что они оказались тут, в Австрии, далеко от дома, от улицы Карас, далеко от папы, в этом дико скучном лагере, Хохенау, или как его зовут, где дают еду, которую нельзя есть, охранники кричат, и, что больше всего пугает, даже маме иногда становится страшно, а ведь взрослые — это взрослые, им-то чего бояться, они не заблудятся, и поесть-попить, если захочется, всегда добыть смогут, и даже знают, как отсюда попасть домой, а если не знают, то могут пойти к лагерфюреру и спросить… Лагерфюрер — это тот дядя, который появляется только на общей поверке, и однажды он погладил Марци по голове… Не может такого быть, чтобы взрослые были как дети и не могли нормально

договориться, чего они хотят. Кого-то, конечно, ненадолго накажут, но потом все равно ведь договорятся.

Это мама виновата, что они евреи. Тут от матери все зависит, Марци один раз это слышал, когда у них были гости, а он подслушал их разговор. Если родители у тебя не евреи, то и ты не еврей. Например, придурок Колония, который остался дома и осенью пошел в школу, хотя он почти на полгода младше, чем Марци… Теперь, наверно, сидит на одной парте с Юльчи. Правда, папа тоже наверняка еврей, от его письки тоже кусочек отрезали, когда он совсем маленький был, по этому можно узнать, еврей папа или нет, но папа — на фронте, так что он все ж не так виноват. Нет, справедливо это? Мало того что их в лагерь заставили переехать, так они еще и обрезаны, чтобы эта скотина, Колонич, насмехался над ним в уборной! Какая несправедливость! Почему он, Марци, должен в уборную ходить вместе с теми, кто необрезан?

Наверно, Колоничу тоже сейчас не очень весело: в школе ведь дисциплина куда строже, чем в детском саду. Но Марци, будь у него выбор, лучше пошел бы в школу. У Колонича сапожок наверняка уже на окне, а утром там будет подарок.

Это тоже несправедливо! Почему один получает подарок, а другой нет?

— Марци, хватит тебе там торчать! Скоро свет выключат, будешь на ощупь сюда добираться. Тебе еще зубы чистить.

Мама слезает с нар, направляется к сыну. Но тот вовсе не торопится уходить от окна. Он еще хочет постоять тут, рисуя пальцем на запотевшем стекле рождественскую елку.

Мать тяжело вздыхает и озирается, словно ожидая помощи или хотя бы совета, как ей поступить. Она совершенно упустила из виду, что к этому следует приготовиться. А ведь могла бы догадаться, что снегопад напомнит мальчику: приближается время, когда детям принято делать подарки. Его семилетие они отметили осенью, каким-то чудом ей удалось добыть на фабрике плитку шоколада. А Микулаш совершенно вылетел у нее из головы… Хотя ясно ведь: Марци увидит снег и поймет, что пришел его праздник.

— Сколько раз говорить, чтобы ты наконец понял?! — говорит она раздраженно… И тут ей становится стыдно. Собственно, сердится она не на сына, а на свою беспомощность, на безвыходность. Хотя знает, что радоваться должна бы: здесь, в этом лагере, с ними все-таки обращаются

не так, как с теми, кого увезли в польские лагеря. Да, здесь они трудятся от темна до темна, но что́ это по сравнению со страшными слухами, которые доходили до них еще дома, весной!..

Марци не отрывается от окна. А ведь знает: рука мамина нынче легко поднимается для затрещины. Потому что ты хоть и большой, а непослушный, говорит она, если он смотрит на нее обиженно. Папа наверняка что-то придумал бы в этой ситуации, ситуации с Микулашем. Марци допускает даже, что папа, обманув охранников, убежал бы ненадолго из лагеря, встретился с Микулашем и сообщил ему: Марци ждет его не там, где всегда, не дома, а совсем в другом месте. Папа многое бы сумел придумать такого, на что мама не способна. Мама — женщина, а женщина не станет ползать в снегу у самых ног вооруженных охранников. Этого Марци от нее не ждет… Просто хочется получить подарок и хочется, чтобы папа был рядом. А мама, мама нечестно ведет себя. Все ей не так, все она сердится. Будто это из-за него их сюда привезли. А он ничего такого не делал, за что их могли бы наказать. Марци сто раз уже думал об этом; впервые — той ночью, когда они сюда прибыли и когда на них кричали, толкали туда-сюда, постоянно был аппель, и надо было

стоять по стойке смирно, и начальство громко читало списки, и никто ничего не мог понять, а он, Марци, в конце концов привалился к маме, которая уже не могла держать его на руках и умоляла, чтобы он стоял сам…

Нет, он и теперь думает, что не сделал ничего, за что полагалось бы такое тяжелое наказание. Несправедливо это! Папа точно не вел бы себя так, как мама… Марци изо всех сил сжимает зубы, чтобы не расплакаться.

Мать смотрит на набыченную, наголо остриженную голову сына, точно такую же круглую и упрямую, как у отца, — и ее разбирает зло. Она злится и на себя, за то, что не способна быть терпеливее, и на Марци, который не может найти себе какое-нибудь занятие, и на мать, которая лежит наверху, не в силах сдвинуться с места, и на мужа, за то, что позволил себя убить. Злится за то, что он сделал ей ребенка, а защитить его от мерзости, которую с ними творят, не может; и злится за то, что он уехал, дал себя увезти… так же, впрочем, как они. «Ваш муж пропал без вести, выполняя воинский долг», — вот и все, что было написано в той треклятой бумаге; с тех пор как они попали сюда, она уже не в силах себя обманывать, как обманывала целый год, заставляя себя

верить, что рано или поздно придет новая бумага, в которой ей сообщат: нашелся, жив… Получив извещение и зажав его в руке, она долго рыдала, чувствуя, что никогда не сможет остановить слезы отчаяния; но потом, вспомнив про сына, взяла себя в руки и стиснула душу в кулак, словно что-то подсказывало ей: это — не последнее испытание, впереди еще много всего… Да и для Марци будет, наверно, легче жить с надеждой на встречу с отцом. Целый год она обманывала себя, теперь обманывает лишь сына: сначала не было сил сообщить ему страшную весть, а потом, когда созрела для этого, началась оккупация, потом гетто… Она и себе, и другим запретила говорить мальчику правду.

Конечно, она догадывается, что будет потом, когда он все же узнает эту беспощадную правду. Наверно, он возненавидит ее за то, что она его обманывала; но что она могла поделать? Мысли об отце придают ему силы; с другой стороны, только так ей удается держать его в руках, иначе с ним не справиться. Что бы папа сказал, если б увидел, как ты себя ведешь? — вот волшебные, безотказно действующие слова. Они же, эти слова, и лучшее поощрение, мальчик просто расцветает, когда слышит: вот это да, папа тобой гордился бы!

При этом ей и лгать не приходится так уж сильно: ведь живи он, то в самом деле был бы рад… У нее сердце сжимается, когда она видит счастливое лицо сына… И она машинально повторяет: нет, конечно, она не забудет рассказать папе об этом. Марци так мечтает об отце! А с ней он держится отчужденно, неприязненно, словно ее винит в том, что они оказались тут, вдали от дома, вдали от папы. Иногда она еле сдерживается, чтобы не закричать в упрямое личико сынишки: нет у тебя отца, умер он, и не меня упрекай в том, что мы остались одни! Не ради папы старайся вести себя хорошо, иногда и обо мне думай, вспоминай, что я двенадцать часов работаю, а потом должна еще позаботиться о тебе и бабушке!.. Думаешь, мне легко без помощи, без внимания, без доброго слова?.. Ты все-таки от меня получаешь какую-то ласку, а мне как быть?.. Два года ее не касалась мужская рука… А мать уже добрых полгода — как живая покойница, сидит или лежит молча, не реагируя ни на что… Это после того, как ее, старуху, на глазах у всего честного народа гнали по улицам, подталкивая прикладами, от гетто до железнодорожной станции… Что ей, молодой женщине, делать с ними, двумя беспомощными людьми?.. Но каждый раз, когда она готова взо-

рваться, в последний момент ей каким-то чудом удается взять себя в руки… Однако теперь, столкнувшись с молчаливым упрямством, которым так и веет от стриженого затылка Марци, она воспринимает это упрямство как неодолимую каменную стену, отделяющую ее от сына. В то же время ей стыдно своей забывчивости… Конечно же Марци сейчас справедливо сердится на нее. Никогда еще не забывала она ни об одном празднике — но больше, кажется, не способна поддерживать призрачные устои этого сказочного мира…

Она подходит ближе, кладет руки на плечи сыну. Как-то надо начать… Он должен понять, что с ними происходит. Должен повзрослеть, раньше, чем остальные дети. Здесь не то место, где можно жить фантазиями и сказками…

Как раньше жили мы…

Да, мы жили в мире мечты… Она неподвижным взглядом смотрит в черноту за окном. Снег падает редкими хлопьями; время от времени снаружи доносится скрип снежного покрова под солдатскими сапогами. В черном стекле отражаются лица и силуэты их двоих, матери и сына.

— Послушай меня, сынок… — Она садится к столу и, притянув Марци, усаживает его себе на

колени. Она говорит ему шепотом, чтобы другие не слышали и чтобы он понял: то, что она сообщит ему, касается лишь их двоих. На этот раз не нужно ставить на окно сапожок.

— Почему? Подарка не будет?! — с грустным недоумением говорит Марци.

— Нет, не в том дело, милый…. Будет подарок, но не такой… В сапожок он все равно не влезет.

Марци быстро поворачивается к ней, обнимает ее за шею. В глазах у него загорается радостная надежда.

— Папа приедет?!

У нее перехватывает дыхание. Держись, держись… Лицо должно быть как каменное. Нельзя разрушать все сразу… Она подносит палец ко рту: тише, многие уже спать легли.

— Нет, мой хороший, папа не может пока приехать… Но подарок тебе мы с ним еще вместе придумали.

Глаза у Марци становятся круглыми. Он даже забывает спросить, когда это они успели придумать: папу ведь они не видели так давно!

— А он очень большой? — торопливо говорит он, моргая и раздувая ноздри. — Я что, не смогу его поднять?

— Он тяжелый, но ты, надеюсь, поднимешь…

Я вот смогла поднять, и папа тоже, когда мы его получили от своих родителей… Правда, мы были старше. Но ты получишь сейчас. Ты куда более зрелый, чем другие дети в детском саду… и чем были мы в твоем возрасте. «Должен быть более зрелым», — добавляет она про себя.

— Зрелый, как персик? — Глаза у Марци блестят, во рту скапливается слюна: ему вспомнился вкус мягкого, сочного персика. Дома, летом, на берегу Тисы, они часто ели персики, очистив, разрезав пополам и вынув косточку.

Мать кивает, вздохнув. Марци гордо поднимает голову. Лицо его розовеет. Он уж забыл, когда случалось вот так разговаривать с мамой, сидя у нее на коленях.

— Подарок этот — не какой-то предмет. Не игрушечная машинка, скажем… Это — знание. Может, не очень приятное знание, зато — правда. Детям твоего возраста этого еще не доверяют, но ты должен знать.

Мать приближается к сути дела постепенно: нужные слова она находит не сразу. Марци же явно рад этой неторопливости, хотя его и распирает от любопытства. Это немного похоже на то, как его заставляли искать подарок, спрятанный в комнате, а папа с мамой подсказывали: холодно,

тепло, еще теплее, горячо, горячо!

— Ты будешь взрослым раньше, чем другие дети, и потому должен раньше узнать правду. Так вот: Микулаша — нет. Микулаш — это вроде Бабы-Яги или гнома из сказки. Кто-нибудь из взрослых надевает красную куртку, колпак, будто он Микулаш, и раздает детям подарки, которые на самом деле приготовили им родители. Здесь, в лагере, никакого Микулаша не будет, а я не могла тебе подарок купить, потому и решила сказать правду. Так что гордись! Ты, наверно, единственный семилетний мальчик на свете, кто знает правду. Считай это подарком.

Лицо у Марци пылает. Он чувствует, что у него кружится голова: ведь он стал обладателем такого невероятного знания! Такого знания — мама же сказала! — какого не дано больше ни одному ребенку… Но больше всего он гордится не этим, а мамой и папой, которые посчитали его достойным и доверили ему эту взрослую тайну. Он горд и растроган. В голове у него роятся вопросы, но ни один из них он не может сформулировать четко. Он даже не знает, надо ли говорить спасибо за такой подарок, как за мяч или за ружье, стреляющее пробками. У мамы на глазах слезы, хотя она никогда не плачет, когда дарит подарок, только

становится розовой от волнения; а ведь подарок не ей дарят, а дарит она!.. Марци чувствует, он должен что-то сделать: ведь мама сказала, что он почти взрослый, а взрослый мальчик — это мужчина, значит, он должен защищать и утешать девочек — так ему говорил папа, — а мама в конце концов тоже девочка, только она выросла.

— Ничего, ничего, все в порядке! — Он гладит маму по голове. Вот так его утешают взрослые, когда он плачет. Мама крепко обнимает его, потом начинает раздевать, готовя ко сну. Марци терпеть не может раздеваться перед другими, но тут ничего не поделаешь, тут даже женщины раздеваются и одеваются у всех на глазах. В этот вечер мама не заставляет его мыться основательно. В тазу, где перед этим мылась бабушка, вода серая, мутная, да и остыла уже. Две печки-буржуйки дают тепло, только если ты рядом с ними. Воздух в бараке — спертый, тяжелый; нужду обитатели справляют в два ведра, отгороженные простыней. Окна в бараке открываются редко, и все равно тут зябко.

Марци еще нужно почистить зубы: на этом мама настаивает; можно подумать, что тут каждый вечер проводится зубоврачебный осмотр. После этого можно надеть штаны, майку, рубашку,

свитер — и забираться на нары. Бабушка то ли спит, то ли просто лежит, отвернувшись к стене. Марци устраивается на своем неудобном месте. Мама еще внизу, занята своими делами. В таких случаях ей нельзя мешать. Она умывается, но Марци не подглядывает за ней. Вначале остальные тоже говорили ему, чтобы он отвернулся, но потом перестали обращать на него внимание: подумаешь, ну болтается здесь мальчишка, когда они подмываются, ну и что? Дома Марци подглядывал иногда в замочную скважину, когда мама принимала ванну, а здесь надо делать вид, будто он ничего не видит, что бы ни делали, как бы ни оголялись женщины, а уж тем более мама. К этому можно быстро привыкнуть; куда труднее — к вспыхивающим внезапно сварам, когда женщины злобно, грубо кричат, как дети в детском саду или как охранники, а то и в волосы друг другу вцепляются, даже дерутся по-настоящему. Причем чаще всего ссоры начинаются из-за мелочей: скажем, из-за какой-нибудь печеной картофелины. Мама тоже участвует в таких перепалках. Марци не может на это смотреть, отворачивается, прячется; хотя картошки ему очень хочется. Почему-то ему стыдно — а ведь стыдиться надо бы взрослым. Он не злится на

других, даже когда голоден; разве что плачет. Но в этот вечер в бараке тихо: люди словно понимают, что сегодня нельзя ссориться, сегодня придет Микулаш. То есть — именно что не придет, потому что нет его, Микулаша.

Марци кажется, что он и так всегда знал: никакого Микулаша не существует, это сказка, выдумка. И все-таки ему немного грустно: ведь это было так здорово, ждать, когда бородач в красном колпаке придет со своим красным мешком, а потом слушать в детском саду, что и кому Микулаш сказал, потому что он знает о детях все. Теперь, по крайней мере, Марци не будет его бояться. Микулаша боялся даже толстяк Колония, только признаваться не хотел в этом.

Марци крутится, кряхтит, пытаясь найти удобную позу. Шепотом спрашивает бабушку: «Ты спишь?», но та или в самом деле спит, или притворяется — ей не до разговоров. Марци хочет сказать ей, что никакого Микулаша нет. Бабушка и так знает, конечно, только не знает, что и он теперь это знает.

Мама тоже наконец влезает на нары и укладывается спать. В бараке гаснет свет. В темноте светятся только раскаленные докрасна буржуйки. Марци готов смотреть на них часами; жаль,

что видно их только ночью, когда хочется спать. Если есть в лагере что-то интересное, то это печки-буржуйки. Дома ни за что не увидишь такого странного свечения, не услышишь звуков, которые они издают. Огонь в них то потрескивает, то урчит; иногда остатки еды на крышке вдруг взрываются фонтанчиком искр; а еще очень интересно следить за сполохами и тенями, которые пляшут на стенах и потолке… Днем Марци должен следить, чтобы огонь в печках горел все время; только трогать их нельзя: обожжешься. Взрослые думают, он этого не понимает, и каждый день повторяют снова и снова. Все-таки сколько надо терпения, чтобы вынести этих взрослых!

Марци прижимается к маме. Она, наверно, тоже скучает без папы. Ее можно понять. Целый день работает, устает, потому и бывает такой раздраженной по вечерам. А иногда и утром…

— Мама, — шепчет Марци, — это в самом деле был хороший подарок.

Мама устало гладит его по плечу, потом кладет голову на свернутый свитер. И почти сразу засыпает. Марци некоторое время лежит без сна. Ему вспоминается придурок Колонич, потом Юльчи с толстой косой, которую так приятно взять в руку и подергать. Марци даже немного жалеет их: они

ведь еще ничего не знают. Не знают, что никакого Микулаша нет. Даже не знают, что такое лагерь. Будь на свете Микулаш, тогда, может, никого бы никуда не депортировали. Но Микулаша нет. Когда Колонии и Юльчи вырастут, их тоже, наверно, депортируют…



Габор Т. Санто (р. 1966) — известный венгерский еврейский писатель, главный редактор журнала "Шабат". Среди лучших его произведений — роман "Восточный вокзал, конечная остановка" и сборник рассказов "Лагерный Микулаш", на основе которого составлена эта книга. Быть евреем в Европе XX века — удел нелегкий, порой страшный. Антисемитизм, погромы, лагеря смерти, ущемление прав... Неудивительно, что многие пытаются раствориться в "титульной нации". Однако некая сила все же заставляет их, как и героев этой книги, вернуться к еврейству — истинной своей сути.

проза еврейской жизни

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.